

А. Ф.
ПИСЕМСКИЙ

Избранное



Алексей Писемский

Тысяча душ

«Public Domain»

1858

Писемский А. Ф.

Тысяча душ / А. Ф. Писемский — «Public Domain», 1858

Роман А.Ф.Писемского «Тысяча душ» был написан больше ста лет тому назад (1853—1858). Но давно ушедший мир старой – провинциальной и столичной – России, сохраненный удивительной силой художественного слова, вновь и вновь оживает перед читателем романа. Конечно, не только ради удовлетворения «исторического» любопытства берем мы в руки эту книгу. Судьба главного героя романа Калиновича – крах его «искоренительных» деяний, бесплодность предпринятой им жестокой борьбы с прочно укоренившимся злом – взяточничеством, лихоимством, несправедливостью, наконец, личная его трагедия – все это по-своему поучительно и для нас. По-человечески волнуют и судьбы других героев романа – любящей истинно и самозабвенно самоотверженной Настеньки, доброго Петра Михайлыча Годнева, несчастной Полины...

Содержание

Часть первая	5
I	5
II	13
III	21
IV	26
V	31
VI	41
VII	48
VIII	56
IX	65
Часть вторая	73
I	73
Конец ознакомительного фрагмента.	79

Алексей Феофилактович Писемский

Тысяча душ

Часть первая

I

В приказах гражданского ведомства было, между прочим, сказано: «Увольняется штатный смотритель эн-ского уездного училища, коллежский асессор Годнев с мундиром и пенсионом, службе присвоенными»; потом далее: «Определяется смотрителем эн-ского училища кандидат Калинович».

Прочитав этот приказ, автор невольно задумался. «Увы! – сказал он сам себе. – В мире ничего нет прочного. И Петр Михайлыч Годнев больше не смотритель, тогда как по точному счету он носил это звание ровно двадцать пять лет. Что-то теперь старик станет подделывать? Не переменит ли образа своей жизни и где будет каждое утро сидеть с восьми часов до двух вместо своей смотрительской каморы?»

В Эн-ске Годнев имел собственный домик с садом, а под городом тридцать благоприобретенных душ. Он был вдов, имел дочь Настеньку и экономку Палагею Евграфовну, девицу лет сорока пяти и не совсем красивого лица. Несмотря на это, тамошняя исправница, дама весьма неосторожная на язык, говорила, что ему гораздо бы лучше следовало на своей прелестной ключнице жениться, чтоб прикрыть грех, хотя более умеренное мнение других было таково, что какой уж может быть грех у таких стариков, и зачем им жениться?

Петра Михайлыча знали не только в городе и уезде, но, я думаю, и в половине губернии: каждый день, часов в семь утра, он выходил из дома за припасами на рынок и имел, при этом случае, привычку поговорить со встречным и поперечным. Проходя, например, мимо полуразвалившегося домишка соседки-мещанки, в котором из волокового окна¹ выглядывала голова хозяйки, повязанная платком, он говорил:

– Здравствуй, Фекла Никифоровна.

– Здравствуйте, батюшка Петр Михайлыч, – отвечала та.

– Давно ли из губернии воротилась?

– Вчерашним днем, сударь, прибыла. Не на конной, батюшка, подводе, пешком отшлепала по экой по грязи.

– Как дела-то идут?

– Дела мои, Петр Михайлыч, по начальству пошли.

– Ну, коли по начальству, так хорошо.

– Да хорошо ли, отец мой?

– Хорошо... хорошо... – говорил Годнев, идя далее.

Сказать правду, Петр Михайлыч даже и не знал, в чем были дела у соседки, и действительно ли хорошо, что они по начальству пошли, а говорил это только так, для утешения ее.

У каменного купеческого дома стоял кучер в накинутах на плечи полушубке, и его Петр Михайлыч считал за нужное обласкать.

– Что, брат, объездил ли лошадку-то? – спрашивал он.

– Нешто-с... выламывается поманеньку, – отвечал тот.

– Видел я... видел... Ты молодец... ловкий ездок!

¹ Волоковое окно – маленькое задвижное оконце, прорубавшееся в избах старинной постройки в боковых стенах.

Кучер самодовольно улыбался.

Мясную лавку, куда шел Годнев, купец только еще отпирал.

– Эге, Силиверст Петрович, поздненько нынче выплыл, – говорил Годнев.

– Что делать, Петр Михайлыч! Позамешкался грешным делом, – отвечал купец. – Что парнишко-то мой: как там у вас? – прибавлял он, уходя за прилавок.

– Что парнишко? Ничего, хорошо: способности есть; резов только; вчера опять два стекла в классе вышиб, – отвечал Петр Михайлыч.

– Фу ты, господи, твоя воля! – восклицал купец, пожимая плечами. – Что только мне с этим парнем делать – ума не приложу; спуску, кажись, не даю ему ни в чем, а хошь ты брось!

– Ну, зачем же? Чересчур не надобно: хуже заколотишь.

– Заколотишь его, пострела, как бы не так! – возражал купец и потом прибавлял: – Говядинки, что ли, прикажете отвесить?

– Да, сударь, хоть говядинки; смотри, только помягче.

– Неужели жесткой! Худой вам не отпустим... худое мы про генеральш здешних бережем.

– Ну, вот уж и про генеральш! Экой вы, торговый народ, зубоскалы!

– Право, так. Не знаем только, куда эта барыня с почтмейстером деньги берегут.

Петр Михайлыч только усмехался и качал головой.

Из мясной лавки он проходил во внутренность гостиного двора, где торговки торговали калачами, горшками, зеленью, нитками и разного рода другими припасами.

– Ты, луковница, опять с своим товаром выехала! – говорил Петр Михайлыч бабе, около которой стояла большая корзина с луком.

Он терпеть не мог луку.

– Полно-ка, полно, старый барин хороший, на почине оговаривать, возьми-ка лучше прядку да и разговаривай.

– Дура, я не ем луку.

– То-то вы, баря: «луку не ем», все бы вам сахару.

– Ну, уж не сердчай, давай прядочку, – говорил Годнев и покупал лук, который тотчас же отдавал первому попавшемуся нищему, говоря: – На-ка лучку! Только без хлеба не ешь: горько будет... Поди ко мне на двор: там тебе хлеба дадут, поди!

Навстречу ему шел священник. Петр Михайлыч еще издали ему кланялся.

– Здравствуйте, – говорил он, снимая картуз и подходя к благословению.

– Здравствуйте, – отвечал тот густым басом.

– Что, отче, прочли мою книжку али еще нет?

– Прочел и намеревался сего же дня возвратить ее с моею благодарностью. Приятное сочинение.

– Да, да, поучительная книга... Занесите как-нибудь.

– Непременно, – отвечал священник и истово раскланивался.

Возвратившись домой, Петр Михайлыч проходил прямо на кухню, где стряпуха, под личным надзором Палагеи Евграфовны, затапливала уж печь.

– Вот тебе, командирша, снеди и блага земные! – говорил он, подавая экономке кулек, который та, приняв, начинала вынимать из него запас, качая головой и издавая восклицания вроде: «Э... э... э... хе, хе, хе...»

– Ну, заворчала! Эх ты, ворчунья, сударыня... Дурно, что ли, купил?

– Хорошо, – отвечала на это Палагея Евграфовна насмешливым тоном.

Она никогда не оставалась покупками Петра Михайлыча довольною и была в этом совершенно права: приятели купцы то обвешивали его, то продавали ему гнилое за свежее, тогда как в самой Палагее Евграфовне расчетливое хозяйство и чистоплотность были какими-то ненасытными страстями. Будучи родом из каких-то немок, она, впрочем, ни на каком языке, кроме русского, пикнуть не умела. Приехав неизвестно как и зачем в уездный городишко, сначала

чуть было не умерла с голоду, потом попала в больницу, куда придя Петр Михайлыч и увидев больную незнакомую даму, по обыкновению разговорился с ней; и так как в этот год овдовел, то взял ее к себе ходить за маленькой Настенькой. Но Палагея Евграфовна, вступив нянькой, прибрала мало-помалу к своим рукам и все домоуправление. С самого раннего утра до поздней ночи она мелькала то тут, то там по разным хозяйственным заведениям: лезла зачем-то на сеновал, бегала в погреб, рылась в саду; везде, где только можно было, обтирала, подметала и, наконец, с восьми часов утра, засучив рукава и надев передник, принималась стряпать – и надобно отдать ей честь: готовить многие кушанья была она великая мастерица. Особенно хороши выходили у ней все соленые и маринованные приготовления; коренная рыба², например, заготавливаемая ею в великий пост, была такова, что Петр Михайлыч всякий раз, когда ел ее в летние жары с ботвиньей, говорил:

– Этакой, господа, рыбы и ботвиньи сам Лукулл³ не едал!

Манишки и шейные платки для Петра Михайлыча, воротнички, нарукавнички и модести⁴ для Настеньки Палагея Евграфовна чистила всегда сама и сама бы, кажется, если б только сил ее доставало, мыла и все прочее, потому что, по собственному ее выражению, у нее кровью сердце обливалось, глядя на вымытое прачкою белье.

Когда спала и чем была сыта Палагея Евграфовна – определить было довольно трудно, и она даже не любила, если ей напоминали об этом. Чай пила как-то урывками, за стол (хоть и накрывался для нее всегда прибор) садилась на минуточку; только что подавалось горячее, она вдруг вскакивала и уходила за чем-то в кухню, и потом, когда снова появлялась и когда Петр Михайлыч ей говорил: «Что же ты сама, командирша, никогда ничего не кушаешь?», Палагея Евграфовна только усмехалась и, ответив: «Кабы не ела, так и жива бы не была», снова отправлялась на кухню.

Жалованье (сто двадцать рублей ассигнациями в год) Палагея Евграфовна всегда принимала с некоторым принуждением. В конце каждого месяца Петр Михайлыч приносил ей обыкновенно десять рублей.

– Это что еще? – говорила экономка.

– Деньги ваши. Деньги – вещь хорошая. Не угодно ли получить и расписаться? – отвечал тот.

– Э... перестаньте с вашими глупостями! – говорила, отворачиваясь, экономка и начала смотреть в окно.

– Порядок, мать-командирша, не глупость. Изволь взять! – говорил Годнев настоятельнее.

– Точно я у вас не сыта, не одета, – говорила Палагея Евграфовна и продолжала смотреть в окно.

– Изволь, изволь брать; знаешь, не люблю! – говорил Годнев еще настоятельнее.

Палагея Евграфовна сердито брала деньги и с пренебрежением кидала их в рабочий ящик.

Всякий раз при этой сцене, несмотря на недовольное выражение лица, у ней навертывались на глазах слезы.

– Взял нищую с дороги, не дал с голоду умереть да еще жалованье положил, бесстыдник этакой! У самого дочка есть: лучше бы дочке что-нибудь скопил! – ворчала она себе под нос.

² Коренная рыба – круто соленая красная рыба весеннего улова.

³ Лукулл Люций Лициний (106-56 до н. э.) – римский полководец и государственный деятель, обладавший огромным богатством; роскошь его пиров вошла в поговорку.

⁴ Модести – вставка (чаще всего кружевная) к дамскому платью.

– А ты мне этого, командирша, не смей и говорить, – слышишь ли? Тебе меня не учить! – прикрикивал на нее Петр Михайлыч, и Палагея Евграфовна больше не говорила, но все-таки продолжала принимать жалованье с неудовольствием.

Передав запас экономке, Петр Михайлыч отправлялся в гостиную и садился пить чай с Настенькой. Разговор у отца с дочерью почти каждое утро шел такого рода:

– Вы, Настасья Петровна, опять до утра засиделись... Нехорошо, моя милушка, право, нехорошо... надо давать время занятиям, время отдыху и время сну.

– Я зачиталась, папенька. Вчерашнюю повесть я уж кончила.

– И то дурно: что ж мы будем сегодня читать? Вот вечером и нечего читать.

– Нет, я вам ее дочитаю, я с удовольствием прочту ее еще раз; и вообразите себе, Валентин этот вышел ужасно какой дурной человек.

– Ну, ну, не рассказывай! Изволь-ка мне лучше прочесть: мне приятнее от автора узнать, как и что было, – перебивал Петр Михайлыч, и Настенька не рассказывала.

После этого они обыкновенно расходились. Настенька садилась или читать, или переписывать что-нибудь, или уходила в сад гулять. Ни хозяйством, ни рукодельем она не занималась. Петр Михайлыч, в свою очередь, надевал форменный вицмундир и шел в училище. В прихожей обыкновенно встречал его сторож, отставной солдат Гаврилыч, прозванный школьниками за необыкновенно рябое лицо «Теркой». Надобно было иметь истинно христианское терпение Петра Михайлыча, чтобы держать Гаврилыча в продолжение десяти лет сторожем при училище, потому что инвалид, по старости лет, был и глуп, и ленив, и груб; никогда почти ничего не прибирал, не чистил, так что Петр Михайлыч принужден был, по крайней мере раз в месяц, нанимать на свой счет полумоек для приведения здания училища в надлежащий порядок. Кроме того, у сторожа была любимая привычка позавтракать рано поутру разогретыми щами, которые он обыкновенно и становил с вечера в смотрительской комнате в печку на целую ночь. Петр Михайлыч, почти каждый раз, приходя поутру, говорил:

– Ты, гренадер, опять щи парил. Экую душину напустил! Смотри-ка: не дохнешь!

– Ну да, парил, у тебя все парил! – возражал Гаврилыч.

– Да как же не парил! Еще запираешься, лжешь на старости лет, греховодник!

– Погляди сам в печку, так, може, и увидишь, что тамotka ничего нет.

– Знаю, что в печке ничего нет: съел! И сало-то еще с рыла не вытер, дурак!.. Огрызается туда же! Прогоню, так и знаешь... шляйся по миру!

– Гони! Словно миром не живут, – отвечал Терка и уходил.

– Дурак! – повторял ему вслед Петр Михайлыч.

Впрочем, тем все и кончалось.

Занявшись в смотрительской составлением отчетов и рапортов, во время перемены классов Петр Михайлыч обходил училище и начинал, как водится, с первого класса, в котором, тоже, как водится, была пыль столбом.

– Ах вы, эфиопы! Татарская орда! А?.. Тише!.. Молчать!.. Чтобы муха пролетала, слышно у меня было! – говорил старик, принимая строгий вид.

В классе несколько утихало.

– Зашумите вы у меня еще раз! Всех переберу – из девяти возьму десятого на выдержку! – заключал он торжественно и уходил.

В коридоре прямо летел на него сорванец и чуть не сшибал его с ног.

– Что ты? Что ты, братец? – говорил, разводя руками, Петр Михайлыч. – Этакая лошадь степная! Вот я на тебя недоуздок надену, погоди ты у меня!

– Петр Михайлыч, меня Модест Васильич без обеда оставил; я не виноват-с! – говорил третьего класса ученик Калашников, парень лет восемнадцати, дюжий на взгляд, нечесаный, неумытый и в чуйке.

– Когда оставил, стало, ты это заслужил, – возражал ему Петр Михайлыч.

– Я, ей-богу, ничего не делал; спросите всех. Они на меня, известно, нападают. Мне сегодня нельзя: день базарный; у тятеньки в лавке некому сидеть.

– И лучше, что нельзя, лучше расскаешься и поймешь, что дурить и грубить не следует, – говорил Петр Михайлыч и поскорее уходил.

Калашников его передразнивал, так что старик все слышал:

– Грубить и дурить не следует, – ту, ту, ту, тетерев! Я и без шапки убегу; много с меня возьмешь! – говорил он и с досады отламывал закраину у карты.

Вообще строгость и крутые меры были совершенно не в характере Петра Михайлыча. Со школьниками он еще кое-как справлялся и, в крайней необходимости, даже посекал их, возлагая это, без личного присутствия, на Гаврилыча и давая ему каждый раз приказание наказывать не столько для боли, сколько для стыда; однако Гаврилыч, питавший к школьникам какую-то глубокую ненависть, если наказуемый был только ему по силе, распоряжался так, что тот, выскочив из смотрительской, часа два отхлипывался. Но в совершенное затруднение становился старик, когда ему нужно было делать замечание или выговоры учителям. Этому, впрочем, подпадал один только преподаватель истории Экзархатов, который был человек очень неглупый, из университета. В продолжение всего месяца он был очень тих, задумчив, старателен, очень молчалив и предмет свой знал прекрасно; но только что получал жалованье, на другой же день являлся в класс развеселый; с учениками шутит, пойдет потом гулять по улице – шляпа набоку, в зубах сигара, попевает, насвистывает, пожалуй, где случай выпадет, готов и драку сочинить; к женскому полу получает сильное стремление и для этого придет к реке, станет на берегу около плотов, на которых прачки моют белье, и любитесь... Посуда, окна, домашние не попадайся: исколотит. А проспится, опять тише его нет. Еще в Москве он женился на какой-то вдове, бог знает из какого звания, с пятерыми детьми, – женщине глупой, вздорной, по милости которой он, говорят, и пить начал. Во все время, покуда кутит муж, Экзархатова убегала к соседям; но когда он приходил в себя, принималась его, как ржа железо, есть, и достаточно было ему сказать одно слово – она пустит в него чем ни попало, растреплет на себе волосы, платье и побежит к Петру Михайлычу жаловаться, прямо ворвется в смотрительскую и кричит:

– Батюшка, Петр Михайлыч, сделайте божескую милость! Что это такое?.. Батюшка!..

– Что такое случилось? Что вам угодно от меня? – спрашивает Годнев, хотя очень хорошо знал, что такое случилось.

– Известно что: двои сутки пил! Что хошь, то и делайте. Нет моей силушки: ни ложки, ни плошки в доме не стало: все перебил; сама еле жива ушла; третью ночь с детками в бане ночую.

– Боже мой! Боже мой! – говорил Петр Михайлыч, пожимая плечами. – Вы, сударыня, успокойтесь; я ему поговорю и надеюсь, что это будет в последний раз.

– Батюшка, да ты хорошенько с него спроси; нельзя ли как-нибудь... хошь бы ты посек его.

– Как это можно, сударыня! Вам и говорить этого не следует, – возражал Петр Михайлыч.

– Гаврилыч! – кричал он. – Подите и попросите ко мне господина Экзархатова.

И Экзархатов являлся, немного сутуловатый, в потертом вицмундире, с лицом истощенным, с синяком на левом глазу... вообще фигура очень печальная.

– Вы, Николай Иваныч, опять вашей несчастной страсти начинаете предаваться! Сами, я думаю, знаете греческую фразу: «Пьянство есть небольшое бешенство!» И что за желание быть в полусумасшедшем состоянии! С вашим умом, с вашим образованием... нехорошо, право, нехорошо!

– Виноват, Петр Михайлыч, сам очень хорошо чувствую, – отвечал Экзархатов и еще ниже потуплял голову.

– Ты, рожа этакая безобразная! – вмешивалась Экзархатова, не стесняясь присутствием зрителя. – Только на словах винишься, а на сердце ничего не чувствуешь. Пятеро у тебя ребят, какой ты поилец и кормилец! Не воровать мне, не по миру идти из-за тебя!

– Так, так, – говорил Годнев, качая головой.

– Виноват, Петр Михайлыч, – повторял Экзархатов.

– Верю, верю вашему раскаянию и надеюсь, что вы навсегда исправитесь. Прошу вас идти к вашим занятиям, – говорил Петр Михайлыч. – Ну вот, сударыня, – присовокупил он, когда Экзархатов уходил, – видите, не помиловал; приличное наставление сделал: теперь вам нечего больше огорчаться.

Но Экзархатова не оставалась этим довольна.

– А что мне не огорчаться-то? Что вы ему сделали?.. По головке еще погладили пса этакова? – говорила она.

– Ай, ай, ай! Как это стыдно даме такие слова говорить! – возражал Петр Михайлыч. – Супруги должны недостатки друг у друга исправлять любовью и кротостью, а не бранью.

– Тьфу мне на его любовь – вот он, криворожий, чего стоит! – возражала Экзархатова. – Кабы знала, так бы не ходила, потатчики этикие! – присовокупляла она, уходя.

Петр Михайлыч усмехался и говорил сам с собой:

– Характерная женщина! Ах, какая характерная! Сгубила совсем человека; а какой малый-то бесподобный! Что ты будешь делать?

Проходя из училища домой, Петр Михайлыч всегда был очень рад, когда встречал кого-нибудь из знакомых помещиков, приехавших на время в город.

– Остановитесь на минуточку! – кричал он.

Помещик останавливался.

– Надолго ли? – спрашивал Петр Михайлыч.

– До завтра.

– А сегодня куда не званы обедать?

– Нет, ни у кого еще не был.

– Так что же, приезжайте щей откушать; а если нет, так рассержусь, право рассержусь. С год уж мы не видались.

– Благодарю вас. Буду, если позволите. Сейчас только в суд заеду.

– Добре, добре, вот это по-нашему, по-приятельски. До свиданья, – говорил Петр Михайлыч.

Против этой его привычки приглашать к себе обедать постоянно восставала Палагея Евграфовна.

– А что, мать-командирша, что мы будем сегодня обедать? – спрашивал он, приходя домой.

– Будете сыты, не беспокойтесь.

– То-то; я пригласил одного человека...

– Что это, Петр Михайлыч, никогда заблаговременно не скажете, и что у вас все гости да гости! Не напасешься ничего, да и только.

– Ну, ну, полно, командирша, ворчать! Кто не любит разделить своей трапезы с приятелем, тот человек жадный.

Впрочем, и Палагее Евграфовне было не жаль: она не любила только, когда ее заставляли, как она выражалась, неприпасенную. Кроме случайных посетителей, у Петра Михайлыча был один каждодневный – родной его брат, отставной капитан Флегонт Михайлыч Годнев. Капитан был холостяк, получал сто рублей серебром пенсией и жил на квартире, через дом от Петра Михайлыча, в двух небольших комнатках. В противоположность разговорчивости и обходительности Петра Михайлыча, капитан был очень молчалив, отвечал только на вопросы и то весьма односложно. Он очень любил птиц, которых держал различных пород до сотни; кроме

того, он был охотник ходить с ружьем за дичью и удить рыбу; но самым нежнейшим предметом его привязанности была легавая собака Дианка. Он с ней спал, мыл ее, никогда с ней не разлучался и по целым часам глядел на нее, когда она лежала под столом развалившись, а потом усмехался.

– Чему это, капитан, вы смеетесь? – спрашивал его Петр Михайлыч. Он всегда называл брата «капитаном».

– Да вон-с, Дианка спит, – отвечал тот.

Постоянный костюм капитана был форменный военный вицмундир. Курил он, и курил очень много, крепкий турецкий табак, который вместе с пенковой коротенькой трубочкой носил всегда с собой в бисерном кисете. Кисет этот вышила ему Настенька и, по желанию его, изобразила на одной стороне казака, убивающего турка, а на другой – крепость Варну. Каждодневно, за полчаса да прихода Петра Михайлыча, капитан являлся, раскланивался с Настенькой, целовал у ней ручку и спрашивал о ее здоровье, а потом садился и молчал.

– Что ж вы не курите? – говорила Настенька, чтоб занять его чем-нибудь.

– А вот-с покурю, – отвечал капитан и набивал свою коротенькую трубочку, высекал огонь к труту собственного изделия из толстой сахарной бумаги и начинал курить.

– Здравствуйте, капитан! – говорил приходя Петр Михайлыч.

Капитан вставал и почтительно ему кланялся. Из одного этого поклона можно было заключить, какое глубокое уважение питал капитан к брату. За столом, если никого не было постороннего, говорил один только Петр Михайлыч; Настенька больше молчала и очень мало кушала; капитан совершенно молчал и очень много ел; Палагея Евграфовна беспрестанно вскакивала. После обеда между братьями всегда почти происходил следующий разговор:

– Куда это путь изволите направлять: верно, на птиц своих посмотреть? – говорил Петр Михайлыч, когда капитан, выкурив трубку, брался за фуражку.

– Да-с, нужно побывать, – отвечал тот.

– С богом! Вечером будете?

– Буду-с, – отвечал капитан и уходил, а вечером действительно являлся к самому чаю с своими обычными атрибутами: кисетом, трубкой и Дианкой.

После чаю обыкновенно начиналось чтение. Капитан по преимуществу любил книги исторического и военного содержания; впрочем, он и все прочее слушал довольно внимательно, и, когда Дианка проскулит что-нибудь во сне, или сильно начнет чесать лапой ухо, или заколотит хвостом от удовольствия, он всегда погрозит ей пальцем и проговорит тихим голосом: «куш!»

В праздничные дни жизнь Годневых принимала несколько другой характер. Петр Михайлыч, в своей вседневной, старой бекеше и в старой фуражке, отправлялся обыкновенно к заутрени в свой приход, куда также являлся и Флегонт Михайлыч. После службы братья расходились по домам. К обедне Петр Михайлыч шел уже с Настенькой и был одет в новую шинель и шляпу и средний вицмундир; капитан являлся тоже в среднем вицмундире. Отслушав литургию, братья подходили к кресту, потом целовались и поздравляли друг друга с праздником. Капитан, кроме того, подходил к Настеньке, справлялся, по обыкновению, о ее здоровье и поздравлял ее с праздником. Из церкви вся семья отправлялась домой, где для них Палагея Евграфовна приготавливала кофе. По праздникам Петр Михайлыч был еще спокойнее, еще веселее.

– Не угодно ли вам, возлюбленный наш брат, одолжить нам вашей трубочки и табачку? – говорил он, принимаясь за кофе, который пил один раз в неделю и всегда при этом выкуривал одну трубку табаку.

Эта просьба брата всегда доставляла капитану большое наслаждение. Он старательно выдувал свою трубочку, аккуратно набивал табак и, положив зажженного труту, подносил Петру Михайлычу, который за это целовал его.

Известие об отставке Годнева удивило весь город.

– Вы, Петр Михайлыч, в отставку вышли? – говорили ему.

– Да, сударь, – отвечал он.

– Что же вам вздумалось?

– А что же? Будет с меня, послужил!

– Да ведь вы бы двойной оклад получали?

– Зачем мне двойной оклад? У меня, слава богу, кусок хлеба есть: проживу как-нибудь.

II

Из предыдущей главы читатель имел полное право заключить, что в описанной мною семье царствовала тишь, да гладь, да божья благодать, и все были по возможности счастливы. Так оно казалось и так бы на самом деле существовало, если б не было замешано тут молоденького существа, моей будущей героини, Настеньки. Та же исправница, которая так невыгодно толковала отношения Петра Михайлыча к Палагее Евграфовне, говорила про нее.

– Господи, боже мой! Может же быть на свете такая дурнушка, как эта несчастная Настенька Годнева!

– Что же за особенная дурнушка? Напротив, очень милая девушка, – осмеливался слегка возразить ей муж.

– Очень милая, – возражала в свою очередь исправница с ударением и вся вспыхнув, как будто нанесено ей было глубокое оскорбление.

– Что ж такое? – говорил больше про себя муж.

– Очень милая, – повторяла исправница (в голосе ее слышалось шипенье), – в танцах мешается, а по-французски произносит: же-не-ве-па, же-не-пе-па!

– Люди небогатые: не на что было гувернанток нанимать! – еще раз рискует заметить муж.

Исправница несколько минут смотрит ему в лицо, как бы измеряя его и обдумывая, что бы такое с ним сделать, а потом, видимо, сдерживая свой гнев, говорит:

– Зачем вы ходите сюда в гостиную? Подите вы вон, сидите вы целый день в вашем кабинете и не смейте показывать вашего скверного носа.

Исправник пожимает только плечами и уходит.

– Какой мудрец-философ выискался, дурак набитый! Смеет еще рассуждать, – говорит исправница. – Мужичкам тоже не на что нанимать гувернанок, а все-таки они мужички.

Нужно ли говорить, что невыгодные отзывы исправницы были совершенно несправедливы. Настенька, напротив, была очень недурна собой: небольшого роста, худенькая, совершенная брюнетка, она имела густые черные волосы, большие, черные, как две спелые вишни, глаза, полуприподнятые вверх, что придавало лицу ее несколько сентиментальное выражение; словом, головка у ней была прехорошенькая.

Что ж касается образования, то я должен здесь сделать маленькое отступление. Настенька была в полном смысле то, что называется уездная барышня... Но бога ради, не подумай, читатель, чтоб она была уездная барышня настоящего времени. Тут есть громадное различие. Я, например, очень еще не старый человек и только еще вступаю в солидный, околосорокалетний возраст мужчины; но – увь! – при всех моих тщетных поисках, более уже пятнадцати лет перестал встречать милых уездных барышень, которым некогда посвятил первую любовь мою, с которыми, читая «Амалат-Бека»⁵, обливался горькими слезами, с которыми перекидывался фразами из «Евгения Онегина», которым писал в альбом:

Я не скажу, я не признаюсь,
В чем тайна вечная моя.

В то мое время почти в каждом городке, в каждом околотке рассказывались маленькие истории вроде того, что какая-нибудь Анночка Савинова влюбилась без ума – о ужас! – в Ананьина, женатого человека, так что мать принуждена была возить ее в Москву, на воды, чтоб вылечить от этой безрассудной страсти; а Катенька Макарова так равнодушна к карабинер-

⁵ «Амалат-Бек» – повесть писателя-декабриста А.А.Бестужева (1797—1837), выступавшего в печати под псевдонимом А.Марлинский.

ному поручику, что даже на бале не в состоянии была этого скрыть и целый вечер не спускала с него глаз. У каждой почти барышни тогда – я в том уверен – хранилось в заветном ящике комода несколько тетрадей стихов, переписанных с грамматическими, конечно, ошибками, но старательно и все собственной рукой. В бесконечных мазурках барышни обыкновенно говорили с кавалерами о чувствах и до того увлекались, что даже не замечали, как мазурка кончалась и что все давно уж сидели за ужином. Ничего этого нет в нынешних уездных барышнях. Боже мой, как они нынче благоразумны и осторожны, какую имеют, сравнительно с прежними барышнями, большую привычку к корсету! Как бойко, хоть не совсем с толком, играют на фортепьяно! Как правильно говорят по-французски! Как грациозны в танцах! Но зато, не беспокойтесь, они не затанцуются до увлечения. Если вы с ними заговорите о чувствах (автор с умыслом это сделал), они, поверьте, не поддержат разговора или потому, что просто не поймут, или найдут это неприличным. Если вы нынешнюю уездную барышню спросите, любит ли она музыку, она скажет: «да» и сыграет вам две – три польки; другая, пожалуй, пропоет из «Нормы»⁶, но если вы попросите спеть и сыграть какую-нибудь русскую песню или романс, не совсем новый, но который вам нравился бы по своей задушевности, на это вам сделают гримасу и встанут из-за рояля. Автор однажды высказал в обществе молодых деревенских девиц, что, по его мнению, если девушка мечтает при луне, так это прекрасно рекомендует ее сердце, – все рассмеялись и сказали в один голос: «Какие глупости мечтать!» Наш великий Пушкин, призванный, кажется, быть вечным любимцем женщин, Пушкин, которого барышни моего времени знали всего почти наизусть, которого Татьяна была для них идеалом, – нынешние барышни почти не читали этого Пушкина, но зато поглотили целые сотни томов Дюма и Поля Феваля⁷, и знаете ли почему? – потому что там описывается двор, великолепные гостинные героинь и торжественные поезды. Если автору случалось в нынешних барышнях замечать что-то вроде любви, то тут же открывалось, что чувство это было направлено именно на человека, с которым могла составить приличная партия; и чем эта партия была приличнее, то есть выгоднее, тем более страсть увеличивалась. Почти положительно можно сказать, что прежние барышни страдали от любви; нынешние – оттого, что у папеньки денег мало. Прежде молодая девушка готова была бежать с бедным, но благородным Вольдемаром; нынче побегов нет уж больше, но зато автор с растерзанным сердцем видел десятки примеров, как семнадцатилетняя девушка употребляла все кокетство, чтоб поймать богатого старика. Прежде заветный он казался полубогом, а нынче заветный он – будущий генерал или владелец пятисот душ. Мечтательности, чувствительности, которую некогда так хлопотал распространить добродушный Карамзин⁸, – ничего этого и в помине нет: тщеславие и тщеславие, наружный блеск и внутренняя пустота заразили юные сердца. Для кареты на лежачих рессорах, для бархатной мантильи, обшитой лебяжьим пухом, для брильянтового склаважа⁹ готовы нынешние барышни на всевозможную супружескую муку.

Героиня моя была не такова: очень умненькая, добрая, отчасти сентиментальная и чувствительная, она в то же время сидела сторбившись, не умела танцевать вальс в два темпа, не играла совершенно на фортепьяно и по-французски произносила – же-не-ве-па, же-не-пе-па. Что делать? У нее не было ни гувернантки-француженки, способной передать ей тайну хорошего произношения; ее не выпрямляли и не учили приседать в пансионе; при ней даже не было никакой практической тетушки или сестрицы, которая хлопотала бы о ее наружности и набила бы ее, как говорит Гоголь, всяким бабьем.

⁶ «Норма» – опера итальянского композитора Винченцо Беллини (1801—1835).

⁷ Феваль Поль (1817—1887) – французский писатель, автор бульварных романов.

⁸ Карамзин Николай Михайлович (1766—1826) – известный русский писатель и историк, автор повести «Бедная Лиза», пользовавшейся большим успехом.

⁹ Склаваж – золотая цепь, украшенная драгоценными камнями.

Лишившись жены, Петр Михайлыч не в состоянии был расстаться с Настенькой и вырастил ее дома. Ребенком она была страшная шалунья: целые дни бегала в саду, рылась в песке, загорала, как только может загореть брюнеточка, прикармливала с реки гусей и бегала даже с мещанскими мальчиками в лошадки. Ходившая каждый день на двор к Петру Михайлычу нищая, встречая ее, всегда говорила:

– Экая барышня шалунья! Постой-ка, я ее возьму в мешок да унесу.

Настенька краснела, но не теряла присутствия духа и смело глядела в лицо старухе. Палагеи Евграфовны она, конечно, нисколько не слушалась и не боялась.

Экономка приходила в ужас, глядя на ее перепачканные платица и изорванные башмачки.

– Вот тебе и петербургская холстиночка; ходите теперь, в чем хотите... Нет уж, Настасья Петровна, нет, нажалуюсь на вас папеньке... – говорила она.

– Папаша ничего не скажет, – отвечала Настенька и сама бежала к отцу.

– Папаша, посмотри, какая я замарашка, – говорила она.

– Славно, славно, дикарочка моя! – отвечал тот (за резвость и за смуглый цвет лица Петр Михайлыч прозвал дочку дикарочкой).

Настенька прыгала к нему на колени, целовала его, потом ложилась около него на диван и засыпала. Старик по целым часам сидел не шевелясь, чтоб не разбудить ее, по целым часам глядел на нее, не опуская глаз, сам бережно потом брал ее на руки и переносил в кроватку.

«Сколько бы у нас общей радости было, кабы покойница была жива», – говорил он сам с собою и с наворачившимися слезами на глазах уходил в кабинет и долго уж оттуда не возвращался...

Когда Палагея Евграфовна замечала Петру Михайлычу: «Баловник уж вы, баловник, нечего таиться», – он обыкновенно возражал: «Воспрещать ребенку резвиться – значит отравлять самые лучшие минуты жизни и омрачать самую чистую, светлую радость».

Учить Настеньку чистописанию, закону божью, 1-й и 2-й части арифметики и грамматике Петр Михайлыч начал сам. Девочка была очень понятлива. С каким восторгом он показывал своим знакомым написанную ее маленькими ручонками, но огромными буквами известную пропись: «Америка очень богата серебром!»

– Каллиграф у меня, господа, дочка будет, право, каллиграф! – говорил он. Очень также любил проэкзаменовать ее при посторонних из таблицы и, стараясь как бы сбивать, задавал таким образом:

– А сколько, например, скажите вы мне, Настасья Петровна, девятью два?

– Восемнадцать, – отвечала Настенька и никогда не ошибалась.

Старик был в восторге.

Когда Настеньке минуло четырнадцать лет, она перестала бегать в саду, перестала даже играть в куклы, стыдилась поцеловать приехавшего в отставку дядю-капитана, и когда, по приказанию отца, поцеловала, то покраснела; тот, в свою очередь, тоже вспыхнул. Чем и как было Петру Михайлычу занять в его однообразной жизни свою дикарочку? Не замечая сам того, он приучил ее к своему любимому занятию. Все, я думаю, помнят, в каком огромном количестве в тридцатых годах выходили романы переводные и русские, романы всевозможных содержания: исторические, нравоописательные, разбойничьи; сборники, альманахи и, наконец, журналы. Из всего этого каждый вечер что-нибудь прочитывалось. Настенька сначала слушала с бессознательным любопытством ребенка, а потом сама стала читать отцу вслух и, наконец, пристрастилась к чтению.

Появление ее в маленьком уездном свете было не совсем удачно: ей минуло восемнадцать лет, когда в город приехала на житье генеральша Шевалова, дама премодная и прегордая. Прежде она жила по летам в своей усадьбе, а по зимам в столицах и теперь переехала в уездный городок, чтоб иметь личное влияние на производящийся там значительный процесс по ее

имению. У ней была всего одна дочь, мамзель Полина, девушка, говорят, очень умная и образованная, но, к несчастью, с каким-то болезненным цветом лица и, как ходили слухи, без двух ребер в одном боку – недостаток, который, впрочем, по наружности почти невозможно было заметить. Генеральша была очень богата и неимоверно скупа: выжимая из имения, насколько можно было из него выжать, она в домашнем хозяйстве заправляла всем сама и дрожала над каждой копейкой. Скупость ее, говорят, простиралась до того, что не только дворовой прислуге, но даже самой себе с дочерью она отказывала в пище, и к столу у них, когда никого не было, готовилось в такой пропорции, чтоб только заморить голод; но зато для внешнего блеска генеральша ничего не жалела. Переехав в город, она наняла лучшую квартиру, мебель была привезена обитая бархатом, трипом¹⁰; во всех комнатах развешены были картины в золотых рамах и расставлено пропасть бронзовых вещей. По городу она всегда ездила в карете с фореитором, хотя и на сильно сморенной четверне. У нее был метрдотель, и все лакеи были постоянно одеты в ливреи. В заключение всего, она объявила, что в продолжение всей зимы у ней будут по четвергам танцевальные вечера.

В маленьком городишке все пало ниц перед ее величием, тем более что генеральша оказалась в обращении очень горда, и хотя познакомилась со всеми городскими чиновниками, но ни с кем почти не сошлась и открыто говорила, что она только и отдыхает душой, когда видится с князем Иваном и его милым семейством (князь Иван был подгородный богатый помещик и дальний ее родственник).

С Петром Михайлычем генеральша познакомилась более случайно. Она отнеслась к нему с просьбою снабжать ее книгами из библиотеки уездного училища, и когда он изъявил согласие, она, как бы в возмездие, пригласила его приехать в первый же четверг и непременно с дочерью. Настеньке сделалось немножко страшно, когда Петр Михайлыч объявил ей, что они поедут к генеральше на бал; впрочем, ей хотелось. Годнев, при всей своей неопытности к балльной жизни, понимал, что в первый раз в свете надобно показать дочь как можно наряднее одетою и советовался по этому случаю с Палагеей Евграфовной. На совещании их положено было купить Настеньке самого лучшего газу на платье и лучшего атласу на чехол. Экономка принялась хлопотать до невероятности и купленную материю меняла раз семь: то заметит на газе дырочку более обыкновенной, то маленькое пятнышко на атласе. Шить сама платье не взялась, а отыскала у казначейши крепостную портниху, уговорила ее работать у них на дому, посадила в свою комнату и следила за каждым ее стежком. На шею Настеньке она предназначила надеть покойной жены Петра Михайлыча жемчуг с брильянтовым фермуаром¹¹, который перенизывала, чистила, мыла и вообще приводила в порядок целые полдня. Палагея Евграфовна, как истая немка, бывши мастерицей стряпать, не умела одевать. Выбранный ею газ хотя и отличался добротою, но был уж очень грубого розового цвета. Крепостная портниха тоже перемодничала в покрое платья и чрезвычайно низко пустила мыс у лифа. Приведенный в порядок жемчуг, конечно, был довольно ценный, но имел какой-то аляповатый купеческий характер. Всех этих недостатков не замечали ни Настенька, которая все еще была под влиянием неопределенного страха, ни сама Палагея Евграфовна, одевавшая свою воспитанницу, насколько доставало у нее пониманья и уменья, ни Петр Михайлыч, конечно, который в тонкостях женского туалета ровно ничего не смыслил. Сам он оделся в новый свой вицмундир, в белый с светлыми форменными пуговицами жилет и белый галстук – костюм, который он обыкновенно надевал, причащаясь и к обедне светлого христового воскресенья. Когда Настенька вышла совсем одетая, он воскликнул:

¹⁰ Трип – шерстяной мебельный плюш.

¹¹ Фермуар – здесь – застежка на ожерелье.

– Фу ты, какая королева! *bene!.. optime!..*¹² Ну-ка, поверни головку... хорошо... право, хорошо... Мать-командирша, ведь Настенька у нас прехорошенькая!

– Э, перестаньте, не мешайте, посторонитесь; только застите; ничего не видно, – отвечала отрывисто экономка, заботливо поправляя и отряхивая платье Настеньки.

В освещенную залу генеральши, где уж было несколько человек гостей, Петр Михайлыч вошел, ведя дочь под руку. Грустно, отрадно и отчасти смешно было видеть его в эти минуты: он шел гордо, с явным сознанием, что его Настенька будет лучше всех. По самодовольному и спокойному выражению лица его можно было судить, как далек он был от мысли, что с первого же шагу маленькая, худощавая Настенька была совершенно уничтожена представительною наружностью старшей дочери князя Ивана, девушки лет восемнадцати и обаятельной красоты, и что, наконец, тут же сидевшая в зале ядовитая исправница сказала своему смиренному супругу, грустно помещавшемуся около нее:

– Поздравляю, нынче уж тараканы в клюковном морсу стали появляться на модных вечерах.

В гостиной Петр Михайлыч подошел к хозяйке, которая сидела в полулежачем положении на угловом диване.

– Позвольте, ваше превосходительство, представить вам дочь мою, – сказал он, расшаркиваясь.

– *Charmee*¹³, – сказала генеральша, закатывая глаза и слегка кивнув головой.

Настенька села на довольно отдаленное кресло. Генеральша лениво повернула к ней голову и несколько минут смотрела на нее своими мутными серыми глазами. Настенька думала, что она хочет что-нибудь ее спросить, но генеральша ни слова не сказала и, поворотив голову в другую сторону, где навтыяжке сидела залитая в брильянтах откупщица, проговорила:

– Как мне ваш браслет нравится! *Combien l'avez vous paye?*¹⁴

– Не знаю, ваше превосходительство; это подарок мужа, – отвечала та, покраснев от удовольствия, что обратили на нее внимание.

Вошла m-lle Полина, только что еще кончившая свой туалет; она прямо подошла к матери, взяла у ней руку и поцеловала.

– *Qiu est cette jeune personne?*¹⁵ – спросила она, взглянув, прищурившись, на Настеньку. Мать ничего не отвечала, а только закрыла глаза и улыбнулась.

Настенька была умна и самолюбива; она все это заметила, все очень хорошо поняла – и вспыхнула. Начались танцы. Танцующих мужчин было немного, и все они танцевали то с хозяйской дочерью, то с другими знакомыми девицами. Настеньку никто не ангажировал; и это еще ничего – ей угрожала большая неприятность: в числе гостей был некто столоначальник Медиокритский, пользовавшийся особным расположением исправницы, которая отрекомендовала его генеральше писать бумаги и хлопотать по ее процессу, и потому хозяйка скрепив сердце пускала его на свои вечера, и он обыкновенно занимался только тем, что натягивал замшевые перчатки и обдергивал жилет. Но в этот вечер Медиокритский, видя, что Годнева все сидит и ни с кем не танцует, вообразил, что это именно ему приличная дама, и, вознамерившись с нею протанцевать, подошел к Настеньке, расшаркался и пригласил ее на кадрили. Она, конечно, поняла, что одно уж приглашение подобного кавалера было новым для нее унижением, но не подала вида и пошла. С первого же шагу оказалось, что Медиокритский и не думал никого приглашать быть своим визави; это, впрочем, сейчас заметила и поправила m-lle Полина: она сейчас же перешла и стала этим визави с своим кавалером, отпускным гуса-

¹² хорошо!.. прекрасно!.. (лат.).

¹³ Очень рада (франц.).

¹⁴ Сколько вы за него заплатили? (франц.).

¹⁵ Кто эта молодая особа? (франц.).

ром, сказав ему что-то вполголоса. Тот пожал только плечами и проговорил: «O mon Dieu, mon Dieu!»¹⁶ Далее потом молодой столоначальник, изучивший французскую кадрили самоучкой и более наглядкой, не совсем твердо знал ее и беспрестанно мешался, а в пятой фигуре, как более трудной, совершенно спутался. С дамой своей он не говорил ни слова и только по временам ласково и с улыбкою на нее взглядывал. Когда же кончилась кадрили, он вдруг сказал; на следующую. У Настеньки потемнело в глазах; она готова была расплакаться, но переломила себя и дала слово. Когда они опять стали, по многим лицам пробежала насмешливая улыбка. Медиокритский держал себя по-прежнему: в продолжение всей кадрили он молчал, а при окончании проговорил снова: на следующую. По незнанию бальных обычаев, ему и в голову не приходило, что танцевать с одной дамой целый вечер не принято в обществе.

Настенька не могла более владеть собой: ссылаясь на головную боль, она быстро отошла от навязчивого кавалера, подошла к отцу, который с довольным и простодушным видом сидел около карточного стола; но, взглянув на нее, он даже испугался – так она была бледна.

– Что такое с тобой, душа моя? – спросил он с беспокойством.

– Поедьте домой: мне дурно, – отвечала Настенька.

– Поедем, поедем. Ах, какая ты слабая! – говорил старик, вставая. – Извините, ваше превосходительство, – проговорил он, проходя гостиную, – захворала вон у меня.

Приехав домой, Настенька свой бальный наряд не сняла, а сбросила и кинулась на постель. На другой день проснулась она с распухшими от слез глазами и дала себе слово не ездить больше никуда. Чтение сделалось единственным ее развлечением. Она читала все, что только ей попадалось под руку. Русских книг стало, наконец, недоставать. Настенька объявила отцу, что хочет учиться французскому языку. Старик, хорошо знавший этот язык, но дурно произносивший, взялся учить ее. Настенька занималась день и ночь, и в полгода почти свободно читала. Все это, конечно, очень образовало и развило ее в умственном отношении, но вместе с тем сильно раздражило ее воображение. Она начала жить в каком-то особенном мирочке, наполненном Гомерами, Орасами¹⁷, Онегинскими, героями французской революции. Любовь женщины она представляла себе не иначе, как чувством, в основании которого должно было лежать самоотвержение, жизнь в обществе – мучением, общественный суд – вздором, на который не стоит обращать внимания. Окружавшая ее среда сделалась для нее невыносимой. Добродушный и всегда довольный Петр Михайлыч стал ее возмущать, особенно когда кого-нибудь хвалил из городских или рассказывал какие-нибудь происшествия, случавшиеся в городе, и даже когда он с удовольствием обедал – словом, она начала делаться для себя, для отца и для прочих домашних какой-то маленькой тиранкой и с каждым днем более и более обнаруживать странностей. Вдруг, например, захотела ездить верхом, непременно заставила купить себе седло и, несмотря на то, что лошадь была не приезжена и сама она никогда не ездила, поехала, или, лучше сказать, поскакала в галоп, так что Петр Михайлыч чуть не умер от страха. Однако она возвратилась благополучно, хотя была бледна и вся дрожала. В другой раз вздумала идти за тридцать верст на богомолье пешком. Сходила и две недели после того была больна.

Все эти капризы и странности Петр Михайлыч, все еще видевший в дочери полуребенка, объяснял расстройством нервов и твердо был уверен, что на следующее же лето все пройдет от купанья, а вместе с тем неимоверно восхищался, замечая, что Настенька с каждым днем обогащается сведениями, или, как он выражался, расширяет свой умственный кругозор.

– Экая ты у меня светлая головка! Если б ты была мальчик, из тебя бы вышел поэт, непременно поэт, – говорил старик.

¹⁶ Боже мой, боже мой! (франц.).

¹⁷ Орас – герой одноименного романа французской писательницы Жорж Санд (1804—1876).

Дочь слушала и краснела, потому что она была уже поэт и почти каждый день потихоньку от всех писала стихи.

Так время шло. Настеньке было уж за двадцать; женихов у ней не было, кроме одного, впрочем, случая. Отвратительный Медиокритский, после бала у генеральши, вдруг начал каждое воскресенье являться по вечерам с гитарой к Петру Михайлычу и, посидев немного, всякий раз просил позволения что-нибудь спеть и сыграть. Старик по своей снисходительности принимал его и слушал. Медиокритский всегда почти начинал, устремив на Настеньку нежный взор:

Я плыву и наплыву
Через мглу – на скалу
И сложу мою главу
Неоплаканную.

Все это разрешилось тем, что в одно утро приехала совершенно неожиданно к Петру Михайлычу исправница и прямо сделала от своего любимца предложение Настеньке. Петр Михайлыч усмехнулся.

– Благодарим вас покорно, Марья Ивановна, за ваше беспокойство, а Медиокритского за честь, – сказал он, – только дочь моя еще молода.

У исправницы начало подергивать губу; она вообще очень не любила противоречия, а в этом случае даже и не ожидала.

– Это, Петр Михайлыч, обыкновенно говорят как один пустой предлог! – возразила она. – Я не знаю, а по-моему, этот молодой человек – очень хороший жених для Настасьи Петровны. Если он беден, так бедность не порок.

Петру Михайлычу стало уж немного досадно.

– Бедность точно не порок, – возразил он, в свою очередь, – и мы не можем принять предложения господина Медиокритского не потому, что он беден, а потому, что он человек совершенно необразованный и, как я слышал, с довольно дурными нравственными наклонностями.

– Здесь, кажется, у всех одно образование, что у женихов, что у невест! – проговорила исправница с насмешкою.

Настенька, бывшая свидетельницей этой сцены, не вытерпела.

– У вас, Марья Ивановна, у самих дочь невеста, – сказала она, – если вам так нравится Медиокритский, так вам лучше выдать за него вашу дочь.

– Нет-с, он не может быть женихом моей дочери, – произнесла с ударением исправница.

– Почему же вы думаете, что он может быть моим женихом? – спросила гордо и вся вспыхнув Настенька.

– Ах, боже мой! – воскликнула исправница. – Я ничего не думала, а исполнила только безотступную просьбу молодого человека. Стало быть, он имел какое-нибудь право, и ему была подана какая-нибудь надежда – я этого не знаю!

Настенька вышла из себя; на глазах ее навернулись слезы.

– Подавали ему надежду, вероятно, вы, а не я, и я вас прошу не беспокоиться о моей судьбе и избавить меня от ваших сватаний за кого бы то ни было, – проговорила она взволнованным голосом и проворно ушла.

Исправница насмешливо посмотрела ей вслед.

– И ваш ответ, Петр Михайлыч, будет тот же? – спросила она.

– Совершенно тот же, Марья Ивановна, – отвечал Петр Михайлыч, – и мне только очень жаль, что вы изволили принять на себя это обидное для нас поручение.

– А я, конечно, еще более сожалею об этом, потому что точно надобно быть очень осторожной в этих случаях и хорошо знать, с какими людьми будешь иметь дело, – проговорила исправница, порывисто завязывая ленты своей шляпы и надевая подкрашенное боа, и тотчас же уехала.

Петр Михайлыч проводил ее до лакейской и возвратился к дочери, которая сидела и плакала.

– Это что, Настенька, плакать изволишь?.. Что это?.. Как тебе не стыдно! Что за малодушие!

– Это, папенька, ужасно! Она скоро приедет лакея своего сватать за меня. Ее бы выгнать надобно!

– Ну, ну, перестань! Какая вспыльчивая! Всяким вздором огорчаешься. Давай-ка лучше читать! – говорил старик.

Но Настенька и читать не могла.

Случай этот окончательно разъединил ее с маленьким уездным мирком; никуда не выезжая и встречаясь только с знакомыми в церкви или на городском валу, где гуляла иногда в летние вечера с отцом, или, наконец, у себя в доме, она никогда не позволяла себе поклониться первой и даже на вопросы, которые ей делали, отмалчивалась или отвечала односложно и как-то неприязненно.

III

Недели через три после состояния приказа, вечером, Петр Михайлыч, к большому удовольствию капитана, читал историю двенадцатого года Данилевского¹⁸, а Настенька сидела у окна и задумчиво глядела на поляну, облитую бледным лунным светом. В прихожую пришел Гаврилыч и начал что-то бунчать с сидевшей тут горничной.

– Что ты, гренадер, зачем пришел? – крикнул Петр Михайлыч.

– К вама-тка, – отвечал Терка, выставив свою рябую рожу в полурастворенную дверь. – Смотритель новый приехал, ачителей завтра к себе в сбор на фатеру требует в девятом часу, чтоб биспременно в мундерах были.

– Эге, вот как! Малый, должно быть, распорядительный! Это уж, капитан, хоть бы по-вашему, по-военному; так ли, а? – произнес Петр Михайлыч, обращаясь к брату.

– Да-с, точно, – отвечал тот глубокомысленно.

– Где же господин новый смотритель остановился? – продолжал Петр Михайлыч.

– На постоялом, у Афоньки Беспалого, – отвечал с какой-то досадой Терка.

– Да ты сам у него был?

– Нету, не был; мне пошто! Хозяйка Афоньки, слышь, прибежала, чтоб завтра в девятом часу в мундерах биспременно – вот что!

– Так поди обвести!

– Сегодня нету, не пойду: не достучишься... поздно; завтра обвещу.

– И то пожалуй; только, смотри, пораньше; и скажи господам учителям, чтоб оделись почище в мундиры и ко мне зашли бы: вместе пойдем. Да уж и сам побрейся, сапоги валяные тоже сними, а главное – щи твои, – смотри ты у меня!

– Ну-ко, заладил, щи да щи! Только и речей у тебя! – проговорил инвалид и, хлопнув сердито дверь, ушел.

Петр Михайлыч усмехнулся ему вслед.

Впрочем, Гаврилыч на этот раз исполнил возложенное на него поручение с не совсем свойственной ему расторопностью и еще до света обошел учителей, которые, в свою очередь, собрались к Петру Михайлычу часу в седьмом. Все они были более или менее под влиянием некоторого чувства страха и беспокойства. Комплект их был, однако, неполный: знакомый нам учитель истории, Экзархатов; учитель математики, Лебедев, мужчина вершков одиннадцати ростом, всегда почти нечесаный, редко бритый и говоривший всегда сильно густым басом. Дикообразной его наружности как нельзя больше в нем соответствовала непреодолимая страсть к звероловству. Он был, конечно, в целой губернии первый стрелок и замечательнейший охотник на медведей, которых собственными руками на своем веку уложил более тридцати штук. С капитаном Лебедев находился, по случаю охоты, в теснейшей дружбе. Третий учитель был преподаватель словесности Румянцев. В противоположность Лебедеву, это был маленький, худенький молодой человек, весьма робкого и, вследствие этого, склонного поподличать характера, вместе с тем большой говорун и с сильной замашкой пофрантить: вечно с завитым а-ла-коком и висками. Он было и в настоящем случае прилетел в своем, по его мнению, очень модном пальто и в цветном шарфе, завязанном огромным бантом, но, по совету Петра Михайлыча, тотчас же проворно сбегал домой и переоделся в мундир.

Петр Михайлыч тоже оделся в полную форму.

¹⁸ ...историю двенадцатого года Данилевского. – Имеется в виду книга русского военного историка А.И.Михайловского-Данилевского (1790—1848) «Описание Отечественной войны в 1812 году».

– Ну, вот мы и в параде. Что ж? Народ хоть куда! – говорил он, осматривая себя и других. – Напрасно только вы, Владимир Антипыч, не постриглись: больно у вас волосы торчат! – отнесся он к учителю математики.

– Черт их знает, проклятые, неимоверно шибко растут; понять не могу, что за причина такая. Сегодня ночь, признаться, в шалаше, за тетеревами просидел, постричься-то уж и не успел, – отвечал Лебедев, приглаживая голову.

– Да, да, вот так, хорошо, – ободрял его Петр Михайлыч и обратился к Румянцеву: – Ну, а ты, голубчик, Иван Петрович, что?

– Ничего-с! Маменька только наказывала: «Ты, говорит, Ванюшка, не разговаривай много с новым начальником: как еще это, не зная тебя, ему понравится; неравно слово выпадет, после и не воротишь его», – простодушно объяснил преподаватель словесности.

– Конечно, конечно, – подтвердил Петр Михайлыч и потом, пропев полушутливым тоном: «Ударил час и нам расстаться...», – продолжал несколько растроганным голосом: – Всем вам, господа, душевно желаю, чтоб начальник вас полюбил; а я, с своей стороны, был очень вами доволен и отрекомендую вас всех с отличной стороны.

– Мы бы век, Петр Михайлыч, желали служить с вами, – проговорил Лебедев.

– Именно век. Я вот и по недавнему моему служению, а всем говорю, что, приехав сюда, не имел ни с извозчиком чем разделаться, ни платья на себе приличного, и все вашими благодеяниями сделалось... – отрапортовал Румянцев, подняв глаза кверху.

Экзархатов ничего не проговорил, а только тяжело вздохнул.

Все эти отзывы учителей, видимо, были очень приятны старику.

– Благодарю вас, если вы так меня понимаете, – возразил он. – Впрочем, и я тоже иногда шумел и распекал; может быть, кого-нибудь и без вины обидел: не помяните лихом!

– Кроме добра, нам вас нечем поминать, – сказал Лебедев.

– От вас это были только родительские наставления, – подхватил Румянцев.

Петр Михайлыч совсем расчувствовался.

– Очень, очень вам благодарен, друзья мои, и поверьте, что теперь выразить не могу, а вполне все чувствую. Дай бог, чтоб и при новом начальнике вашем все шло складно да ладно.

Говоря это, он старался смигнуть наворачнувшиеся на глазах слезы.

Экзархатов, все ниже и ниже потуплявший голову, вдруг зарыдал на весь дом и убежал в угол.

– Полноте, полноте! Что это? Не стыдно ли вам? Добро мне, старому человеку, прости-тельно... Перестаньте, – сказал Петр Михайлыч, едва удерживаясь от рыданий. – Грядем лучше с миром! – заключил он торжественно и пошел впереди своих подчиненных.

На дворе у Афоньки Беспалого наши ученые мужи встретили саму хозяйку, здоровеннейшую бабу в ситцевом сарафане. Она тащила, ухватив за ушки, огромную лоханку с помоями, которую, однако, тотчас же оставила и поклонилась, проговоря:

– Здравствуйте, сударики, здравствуйте.

– Нельзя ли, моя милая, доложить господину Калиновичу, что господа учителя пришли представиться, – сказал ей Петр Михайлыч.

– Сейчас, сударики, сейчас pošлю паренька моего к нему, а вы подьте пока в горенку, обождите: он говорил, чтоб в горенке обождать.

Петр Михайлыч и учителя вошли в горенку, в которой нашли дверь в соседнюю комнату очень плотно притворенною. Ожидали они около четверти часа; наконец, дверь открылась, Калинович показался. Это был высокий молодой человек, очень худощавый, с лицом умным, изжелта-бледным. Он был тоже в новом, с иголочки, хоть и не из весьма тонкого сукна мундире, в пике безукоризненной белизны жилете, при шпаге и с маленькой треугольной шляпой в руках.

Петр Михайлыч начал:

– Рекомендую себя: предместник ваш, коллежский ассессор Годнев.

Калинович подал ему конец руки.

– Позвольте мне представить господ учителей, – добавил старик.

Калинович слегка нагнул голову.

– Господин Экзархатов, преподаватель истории, – продолжал Петр Михайлыч.

– Из какого заведения? – спросил Калинович.

– С словесного факультета Московского университета, – отвечал своим печальным голо-
сом Экзархатов.

– Кончили курс?

– Со второго курса.

– Превосходно знают свой предмет; профессорской кафедры по своим познаниям
достойны, – вмешался Годнев. – Может быть, даже вы знакомы по университету? Судя по
летам, должно быть одного времени.

– Нас там много! – возразил Калинович.

Экзархатов поднял на него немного глаза и снова потупился. Он очень хорошо знал Кали-
новича по университету, потому что они были одного курса и два года сидели на одной лавке;
но тот, видно, нашел более удобным отказаться от знакомства с старым товарищем.

– Господин Лебедев, учитель математики, – продолжал Годнев.

– Из какого заведения? – повторил опять Калинович.

– Из вольнопрактикующих землемеров, – отвечал лаконически Лебедев.

Калинович обратил глаза на Румянцева, который, не дождавшись вопроса и приложив
руки по швам, проговорил без остановки:

– Воспитанник Московского воспитательного дома, выпущен первоначально в качестве
домашнего учителя музыки; но, так как имею семейство, пожелал поступить в коронную
службу.

– Все здешние господа учителя отличаются познаниями, добронравственностью и усер-
дием... – вмешался Петр Михайлыч.

Калинович слегка улыбнулся; у старика не свернулось это с глазу.

– Я говорю таким манером, – продолжал он, – не относя к себе ничего; моя песня про-
пета: я не искатель фортуны; и говорю собственно для них, чтоб вы их снискали вашим покро-
вительством. Вы теперь человек новый: ваша рекомендация перед начальством будет для них
очень важна.

– Я почту для себя приятным долгом... – проговорил Калинович и потом прибавил, обра-
щаясь к Петру Михайлычу: – Не угодно ли садиться? – а учителям поклонился тем поклоном,
которым обыкновенно начальники дают знать подчиненным: «можете убраться»; но те сна-
чала не поняли и не трогались с места.

– Я вас, господа, не задерживаю, – проговорил Калинович.

Экзархатов первый пошел, а за ним и прочие, Румянцев, впрочем, приостановился в
дверях и отдал самый низкий поклон. Петр Михайлыч нахмурился: ему было очень неприятно,
что его преемник не только не обласкал, но даже не посадил учителей. Он и сам было хотел
уйти, но Калинович повторил свою просьбу садиться и сам даже пододвинул ему стул.

– Очень, очень все это хорошие люди, – начал опять, усевшись, старик.

Калинович как будто не слышал этого и, помолчав немного, спросил:

– А что, здесь хорошее общество?

– Хорошее-с... Здесь чиновники отличные, живут между собою согласно; у нас ни ссор,
ни дразг нет; здешний город исстари славится дружелюбием.

– И весело живут?

– Как же-с! Съезжаются иногда друг к другу, веселятся.

– Не можете ли вы мне назвать некоторых лиц?

- Отчего ж не могу? Только кого именно вам угодно?
- Городничий есть?
- Есть: Феофилакт Семеныч Кучеров, ветеран двенадцатого года, старик препочтенный.
- Семейный?
- Даже очень большое имеет семейство.
- Потом?
- Потом-с, пожалуй, исправник с супругой; стряпчий, молодой человек, холостой еще, но скоро женится на этой, вот, городнической дочери.
- А почтмейстер?
- Как же-с, и почтмейстер есть, по только наш брат, старик уж, домосед большой.
- Это все чиновники; а помещики? – спросил Калинович.
- Помещиков здесь постоянно живущих всего только одна генеральша Шевалова.
- Богатая?
- С состоянием; по слухам, миллионерка и, надобно сказать, настоящая генеральша: ее здесь так губернаторшей и зовут.
- Молодая еще женщина?
- Нет, старушка-с, имеет дочь на возрасте – девицу.
- А скажите, пожалуйста, – сказал Калинович после минутного молчания, – здесь есть извозчики?
- Вы, вероятно, говорите про городских извозчиков, так этаких совершенно нет, – отвечал Петр Михайлыч, – не для кого, – а потому, в силу правила политической экономии, которое и вы, вероятно, знаете: нет потребителей, нет и производителей.
- Калинович призадумался.
- Это немного досадно: я думал сегодня сделать несколько визитов, – проговорил он.
- А если думали, так о чем же вам и беспокоиться? – возразил Петр Михайлыч. – Позвольте мне, для первого знакомства, предложить мою колесницу. Лошадь у меня прекрасная, дрожки тоже, хоть и не модного фасона, но хорошие. У меня здесь многие помещики, приезжая в город, берут.
- Вы меня много обяжете; но мне совестно...
- Что тут за совесть? Чем богаты, тем и рады.
- Благодарю вас.
- А я вас благодарю; только тут, милостивый государь, у меня есть одно маленькое условие: кто моего коня берет, тот должен у меня хлеба-соли откусать, обедать: это плата за провоз.
- Самая приятная плата, – отвечал с улыбкою Калинович, – только я боюсь, чтоб мне не задержать вас.
- Располагайте вашим временем, как вам угодно, – отвечал Петр Михайлыч, вставая. – До приятного свиданья, – прибавил он, расшаркиваясь.
- Калинович подал ему всю руку и вежливо проводил до самых дверей.
- Всю дорогу старик шел задумчивее обыкновенного и по временам восклицал:
- Эх-ма, молодежь, молодежь! Ума у вас, может быть, и больше против нас, стариков, да сердца мало! – прибавил он, всходя на крыльцо, и тотчас, по обыкновению, предупредил о госте к обеду Палагею Евграфовну.
- Знаю уж, – проговорила она и побежала на погреб.
- Переодевшись и распорядившись, чтоб ехала к Калиновичу лошадь, Петр Михайлыч пошел в гостиную к дочери, поцеловал ее, сел и опять задумался.
- Что, папенька, видели нового зрителя? – спросила Настенька.
- Видел, милушка, имел счастье познакомиться, – отвечал Петр Михайлыч с полуулыбкой.
- Молодой?

– Молодой!.. Франт!.. И человек, видно, умный!.. Только, кажется, горденек немного. Наших молодцов точно губернатор принял: свысока... Нехорошо... на первый раз ему не делает это чести.

– Что ж такое, если это в нем сознание собственного достоинства? Учителя ваши точно добрые люди – но и только! – возразила Настенька.

– Какие бы они ни были люди, – возразил, в свою очередь, Петр Михайлыч, – а все-таки ему не следовало поднимать носа. Гордость есть двух родов: одна благородная – это желание быть лучшим, желание совершенствоваться; такая гордость – принадлежность великих людей: она подкрепляет их в трудах, дает им силу побороть препятствия и достигать своей цели. А эта гордость – поважничать перед маленьким человеком – тьфу! Плевать я на нее хочу; зачем она? Это гордость глупая, смешная.

– Зачем же вы звали его обедать, если он гордец? – спросила Настенька.

– А затем, что хочу с ним об учителях поговорить. Надобно ему внушить, чтоб он понимал их настоящим манером, – отвечал Петр Михайлыч, желая несколько замаскировать в себе простое чувство гостеприимства, вследствие которого он всех и каждого готов был к себе позвать обедать, бог знает зачем и для чего.

– По крайней мере я бы лошадь не послала: пускай бы пришел пешком, – заметила Настенька.

– Перестань пустяки говорить! – перебил уж с досадою Петр Михайлыч. – Что лошади сделается! Не убудет ее. Он хочет визиты делать: не пешком же ему по городу бегать.

– Визиты делать! Вчера приехал, а сегодня хочет визиты делать! – воскликнула с насмешкой Настенька.

– Что же тут удивительного? Это хорошо.

– Перед учителями важничает, а перед другими, не успел приехать, бежит кланяться; он просто глуп после этого!

– Вот тебе и раз! Экая ты, Настенька, смелая на приговоры! Я не вижу тут ничего глупого. Он будет жить в городе и хочет познакомиться со всеми.

– Стоит, если только он умный человек!

– Отчего ж не стоит? Здесь люди все почтенные... Вот это в тебе, душенька, очень нехорошо, и мне весьма не нравится, – говорил Петр Михайлыч, колотя пальцем по столу. – Что это за нелюбовь такая к людям! За что? Что они тебе сделали?

– В моей любви, я думаю, никто не нуждается.

– В любви нуждается бог и собственное сердце человека. Без любви к себе подобным жить на свете тяжело и грешно! – произнес внушительно старик.

Настенька отвечала ему полупрезрительной улыбкой.

На эту тему Петр Михайлыч часто и горячо спорил с дочерью.

IV

В двенадцать часов Калинович, переодевшись из мундира в черный фрак, в черный атласный шарф и черный бархатный жилет и надев сверх всего новое пальто, вышел, чтоб отправиться делать визиты, но, увидев присланный ему экипаж, попятился назад: лошадь, о которой Петр Михайлыч так лестно отзывался, конечно, была, благодаря неусыпному вниманию Палагеи Евграфовны, очень раскормленная; но огромная, жирная голова, отвислые уши, толстые, мохнатые ноги ясно свидетельствовали о ее солидном возрасте, сырой комплекции и кротком нраве. Сбруя, купленная тоже собственными руками экономки, отличалась более прочностью, чем изяществом. Дрожки на огромных колесах, высочайших рессорах и с неуклюжими козлами принадлежали к разряду тех экипажей, которые называются адамовскими. И, в заключение всего, кучером сидел уродливый Гаврилыч, закутанный в серый решменский, с огромного мужика армяк, в нахлобученной серой поярковой круглой шляпе, из-под которой торчала только небольшая часть его морды и щетинистые усы. При появлении Калиновича Терка снял шляпу и поклонился.

– Ты, верно, лакей? – спросил Калинович.

– Салдат, ваше благородие, отставной салдат, – отвечал Терка и опять поклонился.

– Зачем же ты стриженный, когда в кучера нанимаешься?

– Нет, ваше благородие, я не в кучерах: я ачилище стерегу. Палагея Евграфовна меня послала – парень ихний хворает. «Поди, говорит, Гаврилыч, съезди». Вот что, ваше благородие, – отпрапортовал инвалид и в третий раз поклонился. Он, видимо, подличал перед новым начальником.

Молодой смотритель находился некоторое время в раздумье: ехать ли ему в таком экипаже, или нет? Но делать нечего, – другого взять было негде. Он сделал насмешливую гримасу и сел, велел себя везти к городничему, который жил в присутственных местах.

Войдя в первую комнату, Калинович увидел чрез растворенную дверь даму с распущенными волосами, в одной кофте и юбке; при его появлении дама воскликнула:

– Что это, батюшки, что это все шляются!.. – И, как пава, поплыла в дальние комнаты.

Калинович остался один; он начал слегка стучать ногами. Явилась толстая горничная девка в домотканом платье и босиком.

– Пошто вы? – спросила она.

– Принимают? – сказал Калинович.

Девка выпучила на него глаза.

– Ольгунька!.. Пострел!.. С кем ты тут болтаешь? – послышался голос городничего.

Девка ушла к барину.

– Пришел какой-то, не знаю, – отвечала она.

– Да кто такой?

– Не видывала, барин, не знаю.

– Поди скажи, коли что нужно, в полицию бы пришел; а теперь некогда, – решил городничий.

– Подьте, теперь некогда, уж в полицию велел прийти, – повторила девка, возвратившись.

Калинович усмехнулся.

– Потрудись отдать карточку, – сказал он, подавая два билетика с загнутыми углами.

– Барину, что ли? – спросила девка.

– Барину, – отвечал Калинович и ушел.

«Это звери, а не люди!» – проговорил он, садясь на дрожки, и решился было не знакомиться ни с кем более из чиновников; но, рассудив, что для парадного визита к генеральше

было еще довольно рано, и увидев на ближайшем доме почтовую вывеску, велел подвезти себя к выходявшему на улицу крылечку. Почтмейстер, видно, жил крепко: дверь у него одного в целом городе была заперта и приделан был к ней колокольчик. Калинович по крайней мере раз пять позвонил, наконец на лестнице послышались медленные шаги, задвигка щелкнула, и в дверях показался высокий, худой старик, с испитым лицом, в белом вязаном колпаке, в круглых очках и в длинном, сильно поношенном сером сюртуке.

– У себя господин почтмейстер? – спросил Калинович.

– Я самый, сударь, почтмейстер. Чем могу служить? – отвечал старик протяжным, ровным и сиповатым голосом.

Калинович объяснил, что приехал с визитом.

– А!.. Очень вам, сударь, благодарен. Милости прошу, – сказал почтмейстер и повел своего гостя через длинную и холодную залу, на стенах которой висели огромные масляной работы картины, до того тусклые и мрачные, что на первый взгляд невозможно было определить их содержание. На всех почти окнах стоял густо разросшийся герань, от которого распространялся сильный, удушливый запах. В следующей комнате, куда привел хозяин гостя своего, тоже висело несколько картин такого же колорита; во весь почти передний угол стояла кивота с образами; на дубовом некрашеном столе лежала раскрытая и повернутая корешком вверх книга, в пергаментном переплете; перед столом у стены висело очень хорошей работы костяное распятие; стулья были некрашенные, дубовые, высокие, с жесткими кожаными подушками. Посадив Калиновича, почтмейстер уставил на него сквозь очки глаза и молчал. Калинович тоже не заговаривал.

– Вы изволили, стало быть, поступить на место господина Годнева? – спросил, наконец, хозяин.

– Да-с, – отвечал Калинович.

– Так, сударь, так; место ваше хорошее: предместник ваш вел жизнь роскошную и состояние еще приобрел... Хорошее место!.. – заключил он протяжно.

Калинович сделал гримасу.

– А наперед сего какую службу имели? – спросил, помолчав, хозяин.

– Я всего два года вышел из Московского университета и не служил еще.

– Из Московского университета изволили выйти? Знаю, сударь, знаю: заведение ученое; там многие ученые мужи получили свое воспитание. О господи помилуй, господи помилуй, господи помилуй! – проговорил почтмейстер, подняв глаза кверху.

Некоторое время опять продолжалось молчание.

– А из Москвы давно ли изволили отбыть? – снова заговорил он.

– Я прямо оттуда приехал.

– Так, сударь, так; это выходит очень недавнее время. Желательно бы мне знать, какие идут там суждения, так как пишут, что на горизонте нашем будет проходить комета.

– Что ж? Это очень обыкновенное явление; путь ее исчислен заранее.

– Знаю, сударь, знаю; великие наши астрономы ясно читают звездную книгу и аки бы пророчествуют. О господи помилуй, господи помилуй, господи помилуй! – сказал опять старик, приподняв глаза кверху, и продолжал как бы сам с собою. – Знамения небесные всегда предшествуют великим событиям; только сколь ни быстр разум человека, но не может проникнуть этой тайны, хотя уже и многие другие мы имеем указания.

– Какие же указания и на что именно? – спросил Калинович, которого хозяин начал интересоваться.

– Многие имеем указания, – повторил тот, уклоняясь от прямого ответа, – откапываются поглощенные землей города, аки бы свидетели тленности земной. Читал я, сударь, в нынешнем году, в «Московских ведомостях», что английские миссионеры проникли уж в эфиопские степи...

– Может быть, – сказал Калинович.

– Да, сударь, проникли, – повторил почтмейстер. – Сказывал мне один достойный вероятия человек, что в Америке родился уродливый ребенок. О господи помилуй, господи помилуй, господи помилуй! Многое, сударь, нам свидетельствует, очень многое, а паче всего уменьшение любви! – продолжал он.

Калинович стал смотреть на старика еще с большим любопытством.

– Вы много читаете? – спросил он.

– Нет, сударь, немного; мало нынче книг хороших попадается, да и здоровьем очень слаб: седьмой год страдаю водяною в груди. Горе меня, сударь, убило: родной сын подал на меня прошение, аки бы я утаил и похитил состояние его матери. О господи помилуй, господи помилуй, господи помилуй! – заключил почтмейстер и глубоко задумался.

Калинович встал и начал раскланиваться.

– Прощайте, сударь, – проговорил хозяин, тоже вставая. – Очень вам благодарен. Предместник ваш снабжал меня книжками серьезного содержания: не оставьте и вы, – продолжал он, кланяясь. – Там заведено платить по десяти рублей в год: состояние я на это не имею, а уж если будет благосклонность ваша обязать меня, убогого человека, безвозмездно...

Калинович изъявил полную готовность и пошел.

– Прощайте, сударь, прощайте; очень вам благодарен, – говорил старик, провожая его и захлопывая дверь, которую тотчас же и запер задвижкой.

Квартира генеральши, как я уже заметил, была первая в городе. Кругом всего дома был сделан из дикого камня тротуар, который в продолжение всей зимы расчищался от снега и засыпался песком в тех видах, что за неимением в городе приличного места для зимних прогулок генеральша с дочерью гуляла на нем между двумя и четырьмя часами. На окнах висели огромные полосатые маркизы¹⁹. Внутреннее убранство соответствовало наружному. Из больших сеней шла широкая, выкрашенная под дуб лестница, устланная ковром и уставленная по бокам цветами. При входе Калиновича лакей, глуповатый из лица, но в ливрее с галунами, вытянулся в дежурную позу и на вопрос: «Принимают?» – бойко отрезал: «Пожалуйте-с», – и побежал вверх с докладом. Калинович между тем приостановился перед зеркалом, поправил волосы, воротнички, застегнул на лишнюю пуговицу фрак и пошел.

Генеральша сидела, по обыкновению, на наугольном диване, в полулежачем положении.

Мамзель Полина сидела невдалеке и рисовала карандашом детскую головку. Калинович представился на французском языке. Генеральша довольно пристально осмотрела его своими мутными глазами и, по-видимому, осталась довольна его наружностью, потому что с любезною улыбкою спросила:

– Вы помещик здешний?

– Нет-с, – отвечал Калинович, взглянув вскользь на Полину, которая поразила его своим болезненным лицом и странностью своей фигуры.

– Верно, по каким-нибудь делам сюда приехали? – продолжала генеральша. Она сочла Калиновича за приехавшего из Петербурга чиновника, которого ждали в то время в город.

– Нет, я здесь буду служить, – отвечал тот.

– Служить? – сказала генеральша тоном удивления. – Какую же вы здесь службу имеете? – прибавила она.

– Я определен смотрителем уездного училища.

Мать и дочь переглянулись.

– Что ж это за служба? – сказала первая.

– Это, верно, на место этого старичка... – заметила Полина.

– Да-с, – отвечал Калинович.

¹⁹ Маркиза – наружный холщовый или парусиновый навес над окнами для защиты от солнца.

Мать и дочь опять переглянулись. Генеральша потупилась.

Полина совсем почти прищурила глаза и начала рисовать. Калинович догадался, что объявлением своей службы он уронил себя в мнении своих новых знакомых, и, поняв, с кем имеет дело, решился поправить это.

– Мне еще в первый раз приходится жить в уездном городе, и я совсем не знаю провинциальной жизни, – сказал он.

– Скучно здесь, – проговорила генеральша как бы нехотя.

– Общество здесь, кажется, немногочисленно?

– Кажется.

– Оно состоит только из одних чиновников?

– Право, не знаю.

– Но ваше превосходительство изволите постоянно жить здесь? – заметил Калинович.

– Я живу здесь по моим делам и по моей болезни, чтоб иметь доктора под руками. Здесь, в уезде, мое имение, много родных, хороших знакомых, с которыми я и выдаюсь, – проговорила генеральша и вдруг остановилась, как бы в испуге, что не много ли лишних слов произнесла и не утратила ли тем своего достоинства.

– Я с большим сожалением оставил Москву, – заговорил опять Калинович. – Нынешний год, как нарочно, в ней было так много хорошего. Не говоря уже о живых картинах, которые прекрасно выполняются, было много замечательных концертов, был, наконец, Рубини.

– Он там очень недолго был, два или три концерта дал, – заметила Полина.

– И какие же эти концерты? Обрывки какие-нибудь!.. Москву всегда потчуют остаточками... Мы его слышали в Петербурге в полной опере, – сказала генеральша.

– Он пел лучшие свои арии, и Москва была в восторге, – возразил Калинович.

– Что ж Москва? Москва всегда и всем готова восхищаться.

– Точно так же, как и Петербург. Москва еще, мне кажется, разумнее в этом случае.

– Как можно сравнить: Петербург и Москва!.. Петербург – чудо как хорош, а Москвы... я решительно не люблю; мы там жили несколько зим и ужасно скучали.

– Это личное мнение вашего превосходительства, против которого я не смею и спорить, – сказал Калинович.

– Нет, это не мое личное мнение, – возразила спокойным голосом генеральша, – покойный муж мой был в столицах всей Европы и всегда говорил, – ты, я думаю, Полина, помнишь, – что лучше Петербурга он не видал.

– А вы сами жили в Петербурге? – отнеслась Полина к Калиновичу.

– Я даже не бывал там, – отвечал тот.

Мать и дочь усмехнулись.

– Как же вы его знаете, когда не бывали? Я этого не понимаю, – заметила Полина.

– И я тоже, – подтвердила мать.

Калинович ничего на это не возражал.

Генеральша и дочь постоянно высказывали большую симпатию к Петербургу и нелюбовь к Москве. Все тут дело заключалось в том, что им действительно ужасно нравились в Петербурге модные магазины, торцовая мостовая, прекрасные тротуары и газовое освещение, чего, как известно, нет в Москве; но, кроме того, живя в ней две зимы, генеральша с известною целью давала несколько балов, ездила почти каждый раз с дочерью в Собрание, причем рядила ее до невозможности; но ни туалет, ни таланты мамзель Полины не произвели ожидаемого впечатления: к ней даже никто не присватался.

В остальную часть визита мать и дочь заговорили между собой о какой-то кухне, от которой следовало получить письмо, но письма не было. Калинович никаким образом не мог пристать к этому семейному разговору и уехал.

– Кто это такой? – сказала генеральша.

– Смотритель, мамаша! – отвечала Полина.
– Какая дерзость: вдруг является, знакомится... Очень мне нужно!
– Он недурно произносит по-французски, – заметила дочь.
– Кто ж нынче не говорит по-французски? По этому нельзя судить, кто он и что он за человек. Он бы должен был попросить кого-нибудь представить себя; по крайней мере я знала бы, кто его рекомендует. А все наши люди!.. Когда я их приучу к порядку! – проговорила генеральша и дернула за сонетку.

Вошел худощавый дворецкий.

– Кто сегодня дежурный? – спросила госпожа.

– Семен, ваше превосходительство, – отвечал тот.

– Позови ко мне Семена.

Семен явился.

– Ты, Семенушка, всегда в своем дежурстве наделаешь глупостей. Если ты так несообразителен, то старайся больше думать. Принимаешь всех, кто только явится. Сегодня пустил бог знает какого-то господина, совершенно незнакомого.

– Вашему превосходительству... – заговорил было лакей.

– Пожалуйста, не оправдывайся. У меня очень много твоих вин записано, и ты принудишь меня принять против тебя решительные меры. Ступай и будь умней!

При словах «решительные меры» лакей весь вспыхнул.

Генеральша при всех своих личных объяснениях с людьми говорила всегда тихо и ласково; но когда произносила фразу: решительные меры, то редко не приводила их в исполнение.

V

Палагея Евграфовна что-то более обыкновенного хлопотала для приема нового гостя и, кажется, была намерена показать свое хозяйство во всем его блеске. Она вынула лучшее столовое белье, вымытое, конечно, белее снега и выкатанное так, хоть сейчас вези на выставку; вынула, наконец, граненый хрусталь, принесенный еще в приданое покойною женою Петра Михайлыча, но хрусталь еще очень хороший, который употребляется только раза два в год: в именины Петра Михайлыча и Настенькины, который во все остальное время экономка хранила в своей собственной комнате, в особом шкапу, и пальцем никому не позволила до него дотронуться. Обед тоже, по-видимому, приготавливался не совсем заурядный. Приготовленные большая вилка и лопаточка из кленового дерева заставляли сильно подозревать, что вряд ли не готовилась разварная стерлядь. Настеньке Палагея Евграфовна страшно надоела, приступая к ней целое утро, чтоб она надела вместо своего всedневногo холстинкового платья черное шелковое; и как та ни сердилась, экономка поставила на своем. Во всем этом старая девица имела довольно отдаленную цель: Петр Михайлыч, когда вышло его увольнение, проговорил с ней: «Вот на мое место определен молодой смотритель; бог даст, приедет да на Настеньке и женится».

– Ох, как бы это хорошо! Как бы это было хорошо! – отвечала экономка.

Она питала сильное желание выдать Настеньку поскорей замуж, и тем более за смотрителя, потому что, судя по Петру Михайлычу, она твердо была убеждена, что если уж смотритель, так непременно должен быть хороший человек.

В два часа капитан состоял налицо и сидел, как водится, молча в гостиной; Настенька перелистывала «Отечественные записки»; Петр Михайлыч ходил взад и вперед по зале, посматривая с удовольствием на парадно убранный стол и взглядывая по временам в окно.

– Что ж, папенька, ваш смотритель не едет? Скучно его ждать! – сказала Настенька.

– погоди, душенька подъедет! Засиделся, верно, где-нибудь, – отвечал Петр Михайлыч. – Едет! – проговорил он, наконец.

Настенька, по невольному любопытству, взглянула в окно; капитан тоже привстал и посмотрел. Терка, желая на остатках потешить своего начальника, нахлестал лошадь, которая, не привыкнув бегать рысью, заскакала уродливым галопом; дрожки забренчали, засвистели, и все это так расходилось, что возница едва справил и попал в ворота. Калинович, все еще под влиянием неприятного впечатления, которое вынес из дома генеральши, принявшей его, как видели, свысока, вошел нахмуренный.

– Милости просим, милости просим, Яков Васильич, – говорил Петр Михайлыч, встречая гостя и вводя его в гостиную.

– Это вот-с мой родной брат, капитан армии в отставке, а это дочь моя Анастасия, – прибавил он.

Капитан расшаркался... Настенька слегка привстала; Калинович отдал им вежливый, но холодный поклон.

– Не угодно ли вам водочки выпить? – продолжал Петр Михайлыч, указывая на закуску. – Это вот запеканка, это домашний настой; а тут вот грибки да рыжички; а это вот архангельские селедки, небольшие, но, рекомендую, превкусные.

– Позвольте мне лучше покурить, – проговорил Калинович.

– Сделайте милость! Господин капитан, ваша очередь угощать. Сам я мало курю; а вот у меня великий любитель и мастер по табачной части господин капитан!

Капитан начал было выдывать свою коротенькую трубку.

– Благодарю вас: у меня есть с собой, – возразил Калинович, вынимая папироску из портсигара.

Капитан отложил трубку, но присек огня к труту собственного производства и, подав его на кремне гостю, начал с большим вниманием осматривать портсигар.

– Хорошая вещь; вероятно, кожаная, – проговорил он.

– Her, papier macha, – отвечал Калинович.

Капитан совершенно не понял этого слова, однако не показал того.

– А! Вероятно, английского изобретения! – произнес он глубокомысленно.

– Не знаю, право.

– Английская, – решил капитан.

До всех табачных принадлежностей он был большой охотник и считал себя в этом отношении большим знатоком.

– Где же вы изволили побывать?.. Кого видели? С кем познакомились? – начал Петр Михайлыч.

– Я был не у многих, но... и о том сожалею! – отвечал Калинович.

– Это как? – спросил Петр Михайлыч с удивлением.

Настенька посмотрела на молодого человека довольно пристально; капитан тоже взглянул на него.

– Во-первых, городничий ваш, – продолжал Калинович, – меня совсем не пустил к себе и велел уже вечером прийти в полицию.

– Ха, ха, ха! – засмеялся Петр Михайлыч добродушнейшим смехом. – Этакой смешной ветеран! Он что-нибудь не понял. Что делать?.. Сим-то вот занят больше службой; да и бедность к тому: в нашем городке, не как в других местах, городничий не зажиреет: почти сидит на одном жалованье, да откупщик разве поможет какой-нибудь сотней – другой.

При этих словах на лице Калиновича выразилась презрительная улыбка.

– А семейство тоже большое, – продолжал Петр Михайлыч, ничего этого не заметивший. – Вон двое мальчишек ко мне в училище бегают, так и смотреть жалко: ошипано, оборвано, и на дворянских-то детей не похожи. Супруга, по несчастию, родивши последнего ребенка, не побереглась, видно, и там молоко, что ли, в голову кинулось – теперь не в полном рассудке: говорят, не умывается, не чешется и только, как привидение, ходит по дому и на всех ворчит... ужасно жалкое положение! – заключил Петр Михайлыч печальным голосом.

Но молодой зритель выслушал все это совершенно равнодушно.

– У этого городничего очень хорошенькая дочка, слывет здесь красавицей, – полунасмешливо заметила ему Настенька.

Калинович опять ничего не отвечал и только взглянул на нее.

– Что ж?.. Действительно хорошенькая! – подхватил Петр Михайлыч. – У кого же еще изволили быть? – прибавил он, обращаясь к Калиновичу.

– Еще я был у почтмейстера, – это чудака какой-то!

– Именно чудака, – подтвердил Петр Михайлыч, – не глупый бы старик, богомольный, а все представления света боится... Я часто с ним прежде спорил: грех, говорю, искушать судьбы божий, надобно жить честно и праведно, а тут буди его святая воля...

– Он ужасный скупец, – заметила Настенька.

– Почему ты, душа моя, знаешь? – возразил Петр Михайлыч. – А если и действительно скупец, так, по-моему, делает больше всех зла себе, живя в постоянных лишениях.

– Да как же, папенька, только себе делает зло, когда деньги в рост отдает? Ростовщик! А история его с сыном? – перебила Настенька.

– Что ж история его с сыном?.. Кто может отца с детьми судить? Никто, кроме бога! – произнес Петр Михайлыч, и лицо его приняло несколько строгое и недовольное выражение.

Настенька переменяла разговор.

– У генералыши вы были? – отнеслась она к Калиновичу.

– Был-с, – отвечал он.

– Это здешний большой свет!

– Кажется.

– А дочь ее видели?

– Не знаю, видел какую-то девицу или даму кривобокою или кривошейку – не разберешь.

– Совершенно без боку – ужасно! – подтвердила Настенька, – и вообразите, у них бывают балы, на которых и я имела счастье быть один раз; и она с этакой наружностью и в бальном платье – невозможно видеть равнодушно.

– Господа! Молодые люди! – воскликнул Петр Михайлыч. – Не смейтесь над телесными недостатками; это все равно, что смеяться над больными – грех!

– Мы и не смеемся, – возразил с усмешкою Калинович, – а напротив, она произвела на меня такое тяжелое и грустное впечатление, от которого я до сих пор не могу освободиться.

– Кушать готово! – перебил Петр Михайлыч, увидев, что на стол уже поставлена миска. – А вы и перед обедом водочки не выпьете? – отнесся он к Калиновичу.

– Нет, благодарю, – отвечал тот.

– Как угодно-с! А мы с капитаном выпьем. Ваше высокоблагородие, адмиральский час давно пробил – не прикажете ли?.. Приимите! – говорил старик, наливая свою серебряную рюмку и подавая ее капитану; но только что тот хотел взять, он не дал ему и сам выпил. Капитан улыбнулся... Петр Михайлыч каждодневно делал с ним эту штуку.

– Ну, а уж теперь не обману, – продолжал он, наливая другую рюмку.

– Знаю-с, – отвечал капитан и залпом выпил свою порцию.

Все вышли в залу, где Петр Михайлыч отрекомендовал новому знакомому Палагею Евграфовну. Калинович слегка поклонился ей; экономка сделала ему жеманный книксен.

– Нас, кажется, сегодня хотят угостить потрохами, – говорил Петр Михайлыч, садясь за стол и втягивая в себя запах горячего. – Любите ли вы потроха? – отнесся он к Калиновичу.

– Да, ем, – отвечал тот с несколько насмешливой улыбкой, но, попробовав, начал есть с большим аппетитом. – Это очень хорошо, – проговорил он, – прекрасно приготовлено!

– Художественно-с! – подхватил Петр Михайлыч. – Палагея Евграфовна, честь эта принадлежит вам; кланяемся и благодарим от всей честной компании!

Экономка тупилась, модничала и, по-видимому, отложила свое обыкновение вставать из-за стола. За горячим действительно следовала стерлядь, которой Калинович оказал должное внимание. Соус из рябчиков с приготовленною к нему подливкою он тоже похвалил; но более всего ему понравилась наливка, которой, выпив две рюмки, попросил еще третью, говоря, что это гораздо лучше всяких ликеров.

У Палагеи Евграфовны от удовольствия обе щеки горели ярким румянцем.

После обеда все снова возвратились в гостиную.

– Скажите-ка мне, Яков Васильич, – начал Петр Михайлыч, – что-нибудь о Московском университете. Там, я слышал, нынче прекрасные профессора. Вы какого изволили быть факультета?

– Юрист.

– Прекрасный факультет-с!.. Я сам воспитывался в Московском университете, по словесному факультету, и в мое время весьма справедливо и достойно славился Мерзляков. Человек был с светлой головой. Бывало, начнет разбирать Державина построчно, каждое слово. «Вот такой-то, говорит, стих хорош, а такой-то посредственный; вот бы, говорит, как следовало сказать», да и начнет импровизировать стихами. Мы только слушаем, и если б тогда записывать его импровизации, прелестные бы вышли стихотворения, – говорил Петр Михайлыч. – Любопытно мне знать, – продолжал он, подумав, – вспоминают ли еще теперь господа студенты Мерзлякова, уважают ли его, как следует.

– Очень, – отвечал Калинович, – особенно как профессора.

– Это делает честь молодому поколению: таких людей забывать не следует! – заключил старик и вздохнул. Несколько рюмок наливки, выпитых за столом, сделали его еще разговорчивее и настроили в какое-то приятно-грустное расположение духа. – Вот мне теперь, на старости лет, – снова начал он как бы сам с собою, – очень бы хотелось побывать в Москве; деньгами только никак не могу сбиться, а посмотрел бы на белокаменную, в университет бы сходил... Пустят, я думаю, старого студента хоть на стены посмотреть. Многие товарищи мои теперь известные литераторы, ученые; в студентах я с ними дружен бывал, оспаривал иногда; ну, а теперь, конечно, они далеко ушли, а я все еще пока отставной штатный смотритель; но, так полагаю, что если б я пришел к ним, они бы не пренебрегли мною.

Калинович слушал Петра Михайлыча полувнимательно, но зато очень пристально взглядывал на Настеньку, которая сидела с выражением скуки и досады в лице. Петр Михайлыч по крайней мере в миллионный раз рассказывал при ней о Мерзлякове и о своем желании побывать в Москве. Стараясь, впрочем, скрыть это, она то начинала смотреть в окно, то опускала черные глаза на развернутые перед ней «Отечественные записки» и, надобно сказать, в эти минуты была прехорошенькая.

– Вы что-то такое читаете? – отнесся к ней Калинович.

– Нет, так, покуда перелистываю, – отвечала она.

– А вы любите читать?

– Очень; это единственное для меня развлечение. Нынче я еще меньше читаю, а прежде решительно до обморока зачитывалась.

– Что ж вы находите читать? Это довольно трудно при нашей литературе.

– Больше журналы... – отвечала Настенька.

– Последние годы, – вмешался Петр Михайлыч, – только журналы и читаем... Разнообразно они стали нынче издаваться... хорошо; все тут есть: и для приятного чтения, и полезные сведения, история политическая и натуральная, критика... хорошо-с.

Калинович слегка улыбнулся.

– Вы несколько пристрастны к нашим журналам, – сказал он, – они и сами, я думаю, не предполагают в себе тех достоинств, которые вы в них открыли.

– Не знаю-с, – отвечал Петр Михайлыч, – я говорю, как понимаю. Вот как перебранка мне их не нравится, так не нравится! Помилуйте, что это такое? Вместо того чтоб рассуждать о каком-нибудь вопросе, они ставят друг другу шпильки и стараются, как борцы какие-нибудь, подшибить друг друга под ногу.

– В дельном и честном журнале, если б только он существовал, – начал Калинович, – непременно должно существовать сильное и энергическое противодействие прочим нашим журналам, которые или не имеют никакого направления, или имеют, но фальшивое.

– Так, так! – подтверждал Петр Михайлыч, видимо, не понявший, что именно говорил Калинович. – И вообще, – продолжал он с глубокомысленным выражением в лице, – не знаю, как вы, Яков Васильич, понимаете, а я сужу так, что нынче вообще упадает литература.

Калинович ничего не отвечал, а только вопросительно посмотрел на старика.

– Прежде, – продолжал Петр Михайлыч, – для поэзии брали предметы как-то возвышеннее: Державин, например, писал оду «Бог», воспевал императрицу, героев, их подвиги, а нынче дались эти женские глазки да ножки... Помилуйте, что это такое?

Легкий оттенок насмешки пробежал по лицу Калиновича.

– За нынешней литературой останется большая заслуга: прежде риторически лгали, а нынче без риторики начинают понемногу говорить правду, – проговорил он и мельком взглянул на Настеньку, которая ответила ему одобрительной улыбкой.

– Я этих од решительно читать не могу, – начала она. – Или вот папенька восхищается этим Озеровым. Вообразите себе: Ксения, русская княжна, которых держали взаперти, едет в лагерь к Донскому – как это правдоподобно!

Калинович только усмехнулся. Петр Михайлыч начал колебаться.

– Я моего мнения за авторитет и не выдаю, – начал он, – и даже очень хорошо понимаю, что нынче пишут к чувствам, к жизни нашей ближе, поучают больше в форме сатирической повести – это в своем роде хорошо.

– Даже, полагаю, очень хорошо: гораздо честнее отстаивать слабых, чем хвалить сильных, – сказал Калинович.

– Именно так! – подтвердила Настенька с сияющим в глазах удовольствием.

– Да коли с этой целью, так конечно: кто с этим будет спорить? – согласился и Петр Михайлыч, окончательно разбитый со всех сторон.

– Нынче есть великие писатели, – начала Настенька, – эти трое: Пушкин, Лермонтов, Гоголь, о которых Белинский так много теперь пишет в «Отечественных записках».

– А вы и критику читаете? – спросил ее Калинович.

– Да, – отвечала она с некоторою гордостью.

– Горячая и умная голова этот господин критик Белинский! – заметил Петр Михайлыч.

– Вы согласны с его взглядом? – спросила Настенька.

– Почти, – отвечал Калинович, – но дело в том, что Пушкина нет уж в живых, – продолжал он с расстановкой, – хотя, судя по силе его таланта и по тому направлению, которое принял он в последних своих произведениях, он бы должен был сделать многое.

– Многое бы, сударь, он сделал! Вдохновенный был поэт!.. Сам Державин наименовал его своим преемником! – подхватил Петр Михайлыч каким-то торжественным тоном.

– Вот как Гоголь... – стал было он продолжать, но вдруг и приостановился.

– Что ж Гоголь?.. – возразила ему дочь.

– Гоголя, по-моему, чересчур уж захвалили, – отвечал старик решительно. – Конечно, кто у него может это отнять: превеселый писатель! Все это у него выходит живо, точно видишь перед собой, все это от души смешно и в то же время правдоподобно; но...

Калинович слегка усмехнулся этому простодушному определению Гоголя.

– Гоголь громадный талант, – начал он, – но куда с приличною ему силою является только как сатирик, а потому раскрывает одну сторону русской жизни, и раскроет ли ее вполне, как обещает в «Мертвых душах», и проведет ли славянскую деву и доблестного мужа – это еще сомнительно.

– Неужели вам Лермонтов не нравится? – спросила Настенька.

– Лермонтов тоже умер, – отвечал Калинович, – но если б был и жив, я не знаю, что бы было. В том, что он написал, видно только, что он, безусловно, подражал Пушкину, проводил байронизм несколько на военный лад и, наконец, целиком заимствовал у Шиллера в одухотворениях стихий.

– Нет, неправда; Лермонтов для меня чудо как хорош! – сказала Настенька.

– Да, – продолжал Калинович, подумав, – он был очень умный человек и с неподдельно страстной натурой, но только в известной мере. В том, что он писал, он был очень силен, зато уж дальше этого ничего не видел.

Настенька отрицательно покачала головой; она была с этим решительно не согласна.

– Кроме этих трех писателей, мне и другие очень нравятся, – проговорила она после минутного молчания.

– Кто же именно? – спросил Калинович.

– Например, Загоскин²⁰, Лажечников²¹, которого «Ледяной дом» я раз пять прочитала, граф Соллогуб²²: его «Аптекарьша» и «Большой свет» мне ужасно нравятся; теперь Кукольник²³, Вельтман²⁴, Даль²⁵, Основьяненко.²⁶

²⁰ Загоскин Михаил Николаевич (1789—1852) – русский писатель, автор многочисленных романов, из которых наибольшей известностью пользовались «Юрий Милославский» и «Рославлев».

При этом перечне лицо Петра Михайлыча сияло удовольствием, оттого что дочь обнаруживала такое знакомство с литературой; но Калинович слушал ее с таким выражением, по которому нетрудно было догадаться, что называемые ею авторы не пользовались его большим уважением.

– Много: всех не перечесть! – произнес он.

– О, да какой вы, должно быть, строгий и тонкий судья! – воскликнул Петр Михайлыч.

Калинович ничего не отвечал и только потупил глаза в землю.

– А сами вы не пишете ничего? – спросила его вдруг Настенька.

– Почему же вы думаете, что я пишу? – спросил он, в свою очередь, как бы несколько сконфуженный этим вопросом.

– Так мне кажется, что вы непременно сами пишете.

– Может быть, – отвечал Калинович.

Петр Михайлыч захлопал в ладоши.

– Ага! Ай да Настенька! Молодец у меня: сейчас попала в цель! – говорил он. – Ну что ж! Дай бог! Дай бог! Человек вы умный, молодой, образованный... отчего вам не быть писателем?

– Что же вы пишете? – спросила опять Настенька.

Но Калинович не отвечал.

– Это, сударыня, авторская тайна, – заметил Петр Михайлыч, – которую мы не смеем вскрывать, покуда не захочет того сам сочинитель; а бог даст, может быть, настанет и та пора, когда Яков Васильич придет и сам прочтет нам: тогда мы узнаем, потолкуем и посудим... Однако, – продолжал он, позевнув и обращаясь к брату, – как вы, капитан, думаете: отправиться на свои зимние квартиры или нет?

– Нет, я посижу-с, – отвечал тот.

В продолжение года капитан не уходил после обеда домой в свое пернатое царство не более четырех или пяти раз, но и то по каким-нибудь весьма экстренным случаям. Видимо, что новый гость значительно его заинтересовал. Это, впрочем, заметно даже было из того, что ко всем словам Калиновича он чрезвычайно внимательно прислушивался.

– Ну, и добре; а я так прошу у нашего почтенного гостя позволение отдохнуть: привычка, – говорил Петр Михайлыч, вставая.

– Сделайте одолжение, – отвечал Калинович.

– Вас, впрочем, я не пущу домой, что вам сидеть одному в номере? Вот вам два собеседника: старый капитан и молодая девица, толкуйте с ней! Она у меня большая охотница говорить о литературе, – заключил старик и, шаркнув правой ногой, присел, сделал ручкой и ушел. Чрез несколько минут в гостиной очень чувствительно слышалось его храпенье. Настеньку это сконфузило.

– Не хотите ли в сад погулять? – сказала она, воспользовавшись тем, что Калинович часто брался за голову.

²¹ Лажечников Иван Иванович (1792—1869) – русский писатель, автор популярных в 30-40-е годы XIX в. исторических романов: «Ледяной дом» и др.

²² Соллогуб Владимир Александрович (1814—1882) – русский писатель, повести которого пользовались в 30-40-х годах большим успехом.

²³ Кукольник Нестор Васильевич (1809—1868) – русский писатель, автор многочисленных драм и повестей, проникнутых охранительными крепостническими идеями.

²⁴ Вельтман Александр Фомич (1800—1870) – русский писатель, автор произведений, в которых идеализировалась патриархальная старина.

²⁵ Даль Владимир Иванович (1801—1872) – русский писатель, этнограф и языковед, печатавший свои повести и рассказы под псевдонимом Казак Луганский. Примыкал в 40-е годы к гоголевской школе в русской литературе.

²⁶ Основьяненко – псевдоним украинского писателя Квитки, Григория Федоровича (1778—1843), писавшего также и на русском языке. Его сатирический роман «Пан Халявский», написанный на русском языке, пользовался большой популярностью.

– Очень бы желал освежиться, – отвечал тот, – ваши наливки бесподобны, но уж очень скоро ведут к цели.

Все вышли.

Сад Годневых, купленный вместе с домом у бывшего когда-то предводителем богатого холостяка и большого садовода, отличался некогда большими запотроями. Палагея Евграфовна постоянно обнаруживала сильное поползновение разбить в нем всюду огородные плантации. «Вон лес-то растет, а моркови негде сеять», – брюзжала она, хотя очень хорошо знала, что морковь было бы где сеять, если б она не пустила две лишние гряды под капусту; но Петр Михайлыч, отчасти по собственному желанию, отчасти по настоянию Настеньки, оставался тверд и оставлял большую часть сада в том виде, в каком он был, возражая экономке:

– Не все, мать, хлопотать о полезном; позаботимся и о приятном. В жизни надо мешать *utile cum dulce*.²⁷

Выход в сад был прямо из гостиной с небольшого балкончика, от которого прямо началась густо разросшаяся липовая аллея, расходившаяся в широкую площадку, где посередине стояла полуразвалившаяся китайская беседка. От этой беседки, в различных расстояниях, возвышались деревянные статуи олимпийских богов, какие, может быть, читателям случалось видеть в некогда существовавшем саду Осташевского, который служил прототипом для многих помещичьих садов. Из числа этих олимпийских богов осталась Минерва без правой руки, Венера с отколотою половиной головы и ноги какого-то бога, а от прочих уцелели одни только пьедесталы. Все эти остатки богов и богинь были выкрашены яркими красками. Место это Петр Михайлыч называл разрушенным Олимпом.

– Надобно бы мне мой Олимп реставрировать; мастеров только здесь не найдешь! – часто говорил он, ходя около статуй.

За газоном следовал довольно крутой скат к реке, с заметными следами двух или трех фонтанов и с сбегающими в разных направлениях дорожками. Кроме того, по всему этому склону росли в наклоненном положении огромные кедры, в тени которых стояла не то часовня, не то хижина, где, по словам старожилов, спасался будто бы некогда какой-то старец, но другие объясняли проще, говоря, что прежний владелец – большой между прочим шутник и забавник – нарочно старался придать этой хижине дикий вид и посадил деревянную куклу, изображающую пустынножителя, которая, когда кто входил в хижину, имела свойство вставать и кланяться, чем пугала некоторых дам до обморока, доставляя тем хозяину неимоверное удовольствие. Противоположный, низовый берег реки возвышался отлогою покатостью и сплошь был покрыт как бы подстриженным мелким ельником. С горизонтом сливался он в полукруглой раме, над которой не возвышалось ни деревца, ни облака, и только посередине прорезывалась высокая дальнего села колокольня. День был, как это часто бывает в начале сентября, ясный, теплый; с реки, гладкой, как стекло, начинал подыматься легкий туман. Все это, освещенное довольно уж низко спустившимся солнцем, которое то прорезывалось местами в аллее и обозначалось светлыми на дороге пятнами, то придавало всему какой-то фантастический вид, освещая с одной стороны безглавую Венеру и бездланную Минерву, – все это, говоря, вместе с миниатюрной Настенькой, в ее черном платье, с ее разбившимися волосами, вместе с усевшимся на ступеньки беседки капитаном с коротенькой трубкой в руках, у которого на вычищенных пуговицах вицмундира тоже играло солнце, – все это, кажется, понравилось Калиновичу, и он проговорил:

– Как здесь хорошо! Какое прекрасное местоположение!

– Для приезжающих! – подхватила Настенька. – Впрочем, это единственное место, где мне легче живется, – прибавила она и попросила у Калиновича папироску, которую и закурила в трубке у дяди.

²⁷ полезное с приятным (лат.).

Капитан покачал ей головой и проговорил:

– Смотрите, папаша увидит.

Настенька очень любила курить, но делала это потихоньку от отца: Петр Михайлыч, балуя и не отказывая дочери ни в чем, выходил всегда из себя, когда видел ее с папирской.

– Гусар, сударь, Настасья Петровна, гусар! После этого дамам остается только водку пить, – говорил он.

Но капитан покровительствовал в этом случае племяннице и, с большим секретом от Петра Михайлыча, делал иногда для нее из слабого турецкого табаку папиросы, в производстве которых желая усовершенствоваться, с большим вниманием рассматривал у всех гостей папиросы, наблюдая, из какой они были сделаны бумаги и какого сорта вставлен был картон в них.

– Вы видели портрет Жорж Занд? – спросила Настенька, ходя по аллее с Калиновичем.

– Видел, – отвечал тот.

– Хороша она собой? Молода?

– Нет, не очень молода, но хороша еще.

– А правда ли, что она ходит в мужском платье?

– Не думаю, на портрете она в амазонке.

– Как бы я желала иметь ее портрет! Я ужасно люблю ее романы.

– А который вы из них предпочитаете?

– Все чудо как хороши! «Индиану» я и не знаю сколько раз прочитала.

– И, конечно, плакали над ее участью, – сказал Калинович. В голосе его слышалась скрытая насмешка.

– Что ж плакать над участью Индианы? – возразила Настенька. – Она, по-моему, вовсе не жалка, как другим, может быть, кажется; она по крайней мере жила и любила.

Калинович слегка улыбнулся и молчал.

– Неужели же, – продолжала Настенька, – она была бы счастливее, если б свое сердце, свою нежность, свои горячие чувства, свои, наконец, мечты, все бы задушила в себе и всю бы жизнь свою принесла в жертву мужу, человеку, который никогда ее не любил, никогда не хотел и не мог ее понять? Будь она пошлая, обыкновенная женщина, ей бы еще была возможность ужиться в ее положении: здесь есть дамы, которые говорят открыто, что они терпеть не могут своих мужей и живут с ними потому, что у них нет состояния.

– Причина довольно уважительная! – заметил Калинович.

– Только не для Индианы. По ее натуре она должна была или умереть, или сделать выход. Она ошиблась в своей любви – что ж из этого? Для нее все-таки существовали минуты, когда она была любима, верила и была счастлива.

– Ей бы следовало полюбить Ральфа, – возразил Калинович, – весь роман написан на ту тему, что женщины часто любят недостойных, а людям достойным узнают цену довольно поздно. В последних сценах Ральф является настоящим героем.

– Ральф герой? Никогда! – воскликнула Настенька. – Я не верю его любви; он, как англичанин, чудака, занимался Индианой от нечего делать, чтоб разогнать, может быть, свой сплин. Адвокат гораздо больше его герой: тот живой человек; он влюбляется, страдает... Индиана должна была полюбить его, потому что он лучше Ральфа.

– Чем же он лучше? Он эгоист.

– Нет, он мужчина, а мужчины все честолюбивы; но Ральф – фи! – это тряпка! Индиана не могла быть с ним счастлива: она попала из огня в воду.

Все это Настенька говорила с большим одушевлением; глаза у ней разгорелись, щеки зарумянились, так что Калинович, взглянув на нее, невольно подумал сам с собой: «Бесенок какой!» В конце этого разговора к ним подошел капитан и начал ходить вместе с ними.

– Вон дяденьке так очень нравится Ральф, – продолжала Настенька, указывая на дядю, и потом отнеслась к нему:

– Дяденька, вам нравится Ральф – помните, этот англичанин... третьего дня читали?

– Нравится.

– Чем же?

– Человек солидный-с, – отвечал капитан.

Слушая «Индиану», капитан действительно очень заинтересовался молчаливым англичанином, и в последней сцене, когда Ральф начал высказывать свои чувства к Индиане, он вдруг, как бы невольно, проговорил: «а... а!»

– Что, капитан, не ожидали вы этого? – спросил Петр Михайлыч.

– Да-с, не предполагал, – отвечал капитан.

Таким образом молодые люди гуляли в саду до поздних сумерек. Разговор между ними не умолкал. Калинович, впрочем, больше спрашивал и держал себя в положении наблюдателя; зато Настенька разговорила неимоверно. Она откровенно высказала, как удивилась, услышав, что Калинович поехал делать визиты, и потом описала в карикатуре всю уездную аристократию. Очень мило и в самом смешном виде рассказала она, не щадя самое себя, единственный свой выезд на бал, как она была там хуже всех, как заинтересовался ею самый ничтожный человек, столоначальник Медиокритский; наконец, представила, как генеральша сидит, как повертывает с медленной важностью головою и как трудно, сменяя язык, говорит.

Капитан, слушая ее, только покачивал головой.

«Бесенок!» – опять подумал про себя Калинович.

Между тем Петр Михайлыч проснулся, умылся, прифрантился и сидел уж в гостиной, попивая клюквенный морс, который Палагея Евграфовна для него приготавливала и подавала всегда собственноручно. В настоящую минуту он говорил с нею вполголоса насчет молодого зрителя.

– Ах, боже мой, боже мой! Лучше бы этого человека желать не надобно для Настеньки, – говорила Палагея Евграфовна.

Калинович очень понравился ей опрятностью в одежде, деликатностью своей, а более всего тем, что оказал должное внимание приготовленным ею кушаньям.

– Все в руке божией! – замечал Петр Михайлыч.

Когда молодые люди вернулись, экономка сейчас же скрылась, а Настенька, по обыкновению, села разливать чай.

– Чем же мы вечер займемся? – начал Петр Михайлыч. – Не любите ли вы, Яков Васильич, в карточки поиграть? Не тряхнуть ли нам в преферанс?

Это предложение почему-то сконфузило Калиновича.

– Если вам угодно... впрочем, я по большой не играю, – ответил он.

– У нас огромная игра: по копейке.

– Извольте.

– Господин капитан, – обратился Петр Михайлыч к брату, – распорядитесь о столе!

Капитан с заметным удовольствием исполнил эту просьбу: он своими руками раскрыл стол, вычистил его, отыскал и положил на приличных местах игральные карты, мелки и даже поставил стулья. Он очень любил сыграть пульку и две в карты.

Настенька, никогда прежде не игравшая, сказала, что и она будет играть. Таким образом, уселись все четверо. Хотя игра эта была почти шалостью, но и в ней некоторым образом высказались характеры участвующих. Капитан играл внимательно и в высшей степени осторожно, с большим вниманием обдумывая каждый ход; Петр Михайлыч, напротив, горячился, объявлял рискованные игры, сердился, бранил Настеньку за ошибки, делая сам их беспрестанно, и грозил капитану пальцем, укоряя его: «Не чисто, ваше благородие... подсуживаете!» Настенька, по-видимому, была занята совсем другим: она то пропускала игры, то объявляла ни с чем и всякий раз, когда Калинович сдавал и не играл, обращалась к нему с просьбой поучить ее. Что касается последнего, то он играл довольно внимательно и рассчитывал, кажется, чтоб не

проиграть, – и не проиграл. Выиграл один только капитан у брата и племянницы. Затем последовал ужин, и при прощанье Настенька спросила Калиновича, любит ли он читать вслух.

– Да, читаю, – отвечал он.

– Когда будете опять у нас, мы попросим вас прочесть что-нибудь.

– Если вам угодно, – проговорил Калинович и начал откланиваться.

– Непременно, мы вас будем ждать, – повторила Настенька еще раз, когда Калинович был уже в передней.

– Славный малый, славный! – сказал Петр Михайлыч по уходе его.

– Он очень умный человек, – присовокупила Настенька.

– Да, голова здоровая, – продолжал старик. – Хорошо нынче учат в университетах: год от году лучше.

– Вы завтра, папенька, позовете его к нам обедать? – спросила Настенька.

– Позову; где ему теперь покуда приютиться, – отвечал Петр Михайлыч и потом, подумав, прибавил: – Меня теперь заботит: у кого ему квартирку приискать.

– Против нас квартира отдается, – заметила Настенька.

Петр Михайлыч подмигнул брату.

– Ого! – воскликнул он. – Какова у нас Настасья Петровна, капитан – а?.. Молодого зрителя хочет против своего окошечка поместить...

– Да-с, – отвечал капитан.

Настенька слегка покраснела.

– Надо спросить у приказничихи: у ней постояльцы съехали, – решила Палагея Евграфовна, прибиравшая карты, мелки и уставлявшая на свои места карточный стол и стулья.

– Дело, дело! Квартира хорошая! – подхватил Петр Михайлыч. – Сходи-ка завтра к ней, командирша, да поторгуйся хорошенько.

– Сбегаю, – отвечала экономка.

– Только вот что, – продолжал Петр Михайлыч, – если он тут наймет, так ему мебели надобно дать, а то здесь вдруг не найдет.

– Наберем... дадим... – отозвалась уж с некоторою досадою Палагея Евграфовна и ушла.

Петр Михайлыч говорил о том, что она давно и гораздо лучше его обдумала.

После этого разговора начали все расходиться по своим местам.

Настенька первая встала и, сказав, что очень устала, подошла к отцу, который, по обыкновению, перекрестил ее, поцеловал и отпустил почивать с богом; но она не почивала: в комнате ее еще долго светился огонек. Она писала новое стихотворение, которое начиналось таким образом:

Кто б ни был ты, о гордый человек!..

VI

Как Палагея Евграфовна предположила, так и сделалось: Калинович нанял квартиру у приказничихи. Избранная таким образом хозяйка ему была маленькая, толстая женщина, страшная охотница до пирогов, кофе, чаю, а, пожалуй, небольшим делом, и до водочки. Вдовствуя неизвестное число лет после своего мужа – приказного, она пропитывала себя отдачею своего небольшого домишка внаем и с Палагеей Евграфовной находилась в теснейшей дружбе, то есть прибегала к ней раза три в неделю попить и поесть, оплачивая ей за то принесением всевозможных городских новостей; а если таковых не случалось, так и от себя выдумывала. Дальновидная экономка рассчитала поставить к ней Калиновича, во-первых, затем, чтоб у приятельницы квартира не стояла пустая, во-вторых, она знала, что та разузнает и донесет ей о молодом человеке все, до малейших подробностей. И действительно, приказничиха начала, как зайца, выслеживать постояльца своего и на первое время была в совершенном от него восторге.

– Матери мои! – говорила она, растопыривая обе руки. – Что это за человек! Умница, скромница... прелесть, прелесть мужчина!

А потом, когда Калинович принял предложенную Петром Михайлычем мебель и расставил ее у себя, она пришла в какое-то почти иступление: прибежала к Палагее Евграфовне, лицо ее пылало, глаза горели.

– Мать ты моя, Палагея Евграфовна! – начала она рапортовать. – Не узнаю я моей квартиры, не мой дом, не мои комнаты, хоть вон выходи. Что-что у меня до этого дворянин-помещик стоял – насорил, начернил во всех углах; а у этого, у моего красавчика, красота, чистота... прелесть, прелесть мужчина!

Все эти рассказы еще более возвышали в глазах Палагеи Евграфовны нового смотрителя, который, в свою очередь, после его не совсем удачных визитов по чиновникам, решился, кажется, лучше присмотреться к самому городу и познакомиться с его окрестностями. Он ходил для этой цели по улицам, рассматривал в соборе церковные древности, выходил иногда в соседние поля и луга, глядел по несколько часов на реку и, бродивши в базарный день по рынку, нарочно толкался между бабами и мужиками, чтоб прислушаться к их наречью и всмотреться в их перемешанные типы лиц. Но все это – увы! – очень скоро изучилось и пригляделось. День на день стал походить, как ворона на ворону. Часов в шесть, например, летнего утра солнце поднялось уже довольно высоко. В маленьких мещанских домишках начинали просыпаться. Стал показываться из труб дым, и по улицам распространился чувствительный запах рыбы и лука – признак, что хозяйки начали стряпать. Из слободы сошли к берегу два запоздалых рыбака и, помолвившись на собор, спустили лодки. Из ворот по временам выходят с коромыслами на плечах и, переваливаясь с ноги на ногу, проворно идут за водой краснощекие и совсем уже без талии, но с толстыми задами мещанские девки, между тем как матери их тонкими, звонкими голосами перебраниваются с такими же звонкоголосыми соседками. На каждом почти дворе клочут без умолку проголодавшиеся куры. Заблаговестили к ранней. Около собора появилась неопишуемая, вроде крытых дрожек, колесница, запряженная в одну лошадь. В ней прибыла, еще до прихода отца-протопопа, старая девица-помещица, которая, чтоб быть ближе к храму божью, переселилась из своей усадьбы в город с двумя толсторожими девками, очень скоро составившими предмет соблазна для молодых и холостых приказных. По деревянному провалившемуся во многих местах тротуару идет молодой человек из дворян, недоросль Кадников, недавно записавшийся, для составления себе карьеры, в канцелярию предводителя. Он был в перчатках, но без галстука и без фуражки, которую держал в руках. Голова у него была мокрая. Он сейчас только выкупался и был страстный охотник до этого удовольствия. Несмотря на седьмой час утра, он успел уже в третий раз покупать... Обедня отошла. Купцы в лавках принялись пить чай с калачами. В открытых окнах присутственных мест стали

видны широкие, немного опухлые лица столоначальников и ненадолго высовываться завитые и напوماженные головы писцов. У подъезда начали останавливаться сначала дрожки казначея, потом исправника, судьи и так далее. Проехал лекарь по визитам. Этот час вряд ли не самый одушевленный; но потом, часу во втором, около присутственных мест не видно уже ни одной лошади. Окна все спущены; приказчики в лавках от нечего делать подманивают гуляющих на площади голубей известным звуком: «гуля, гуля». Те сгруппа подходят, думая сначала, что им корму дадут, а вместо того там ладят кого-нибудь из них за хвост поймать; но они вспархивают и улетают, и вслед за ними ударяется бежать бог знает откуда появившийся щенок, доставляя тем бесконечное удовольствие всем, кто только видит эту сцену. В домах купчихи и мещанки, которые побогаче, выпив по порядочному стаканчику домашней настойки и весьма плотно пообедав, спят за ситцевыми занавесками на своих высочайших приданных перинах. Мужья их, когда не в отлучке, делают то же и спят или в холодниках, или в сарае. Чиновники обедают и тоже прибираются спать, если только, тотчас же после обеда, не разбранятся с женами. После этого на улице почти не бывает видно живого существа; разве пройдет молодой Кадников покупаться... В четыре часа с половиной ударят к вечерне. Все начинает мало-помалу оживать. Выспавшиеся мещанки с измятыми лицами идут к колодцу умываться. Из уездного и духовного училища высыпают школьники и, если встретятся, так и подерутся. Лакеи генералыши, отправив парадный на серебре стол, но в сущности состоящий из жареной печенки, пескарей и кофейной яичницы, лакеи эти, заморив собственный свой голод пустыми щами, усаживаются в своих ливрейных фраках на скамеечке у ворот и начинают травить пуделем всех пробегающих мимо собак, а пожалуй, и коров, когда тех гонят с поля. На валу появляются гуляющие группы, причем молодые дамы и девицы блещут на солнце своими яркоцветными платьями и своими тоже яркими шляпками. Глядя на эти группы, невольно подумаешь, отчего бы им не сойтись в этой деревянной на валу беседке и не затеять тут же танцев, – кстати же через город проезжает жид с цимбалами, – и этого, я уверен, очень хочется сыну судьи, семиклассному гимназисту, и пятнадцатилетней дочери непрямого члена, которые две недели без памяти влюблены друг в друга и не имеют возможности сказать двух слов между собою. Но нет и нет этого! Группы, встречаясь, кланяются, меняются несколькими фразами и расходятся. Между тем по улице, обратив на себя всеобщее внимание, проносится в беговых дрожках, на вороном рысаке, молодой сын головы, страстный охотник до лошадей и, как говорится, бабкины слезы, потому что сильно любит кутнуть, и все с дворянами. Солнце садится. Воздух свежеет; гуляющие расходятся по домам; в окнах замелькали огоньки. Вон, с одной свечкой, босоногая Ольгунька накрывает у городничего стол, и он садится с своей многолюдной семьей ужинать. Вон исправница ходит по залу с молодым офицером и заметно с ним любезничает. Вон в маленьком домике честолюбивый писец магистрата, из студентов семинарии, чтоб угодить назавтра секретарю, отхватывает вечером седьмой лист четким почерком, как будто даже не чувствует усталости, но, приостановясь на минутку, вытянет разом стоящую около него трубку с нежинскими корешками, плюнет потом на пальцы, помотает рукой, чтоб разбить прилившую кровь, и опять начинает строчить. Вон в доме первогильдейного купца, в наугольной комнате, примащивается старуха-мать поправить лампаду, горящую перед богатой божницей, сердито поглядывая на лежанку, где заснула молодая ее невестка, только что привезенная из Москвы. На постоялом дворе, с жирным шиворотком и в красной ситцевой рубашке, сидит хозяин за столом и рассчитывает извозчика, медленно побрасывая толстыми, опухлыми пальцами косточки на счетах. Извозчик стоит перед ним в изорванном полушубке и как бы говорит своей печальной физиономией: «Эка, паря, как обдирает».

Такова была почти вся с улицы видимая жизнь маленького городка, куда попал герой мой; но что касается простосердечия, добродушия и дружелюбия, о которых объяснял Петр Михайлыч, то все это, может быть, когда-нибудь бывало в старину, а нынче всем и каждому, я думаю, было известно, что окружный начальник каждогодно делает на исправника донос

на стеснительные наезды того на казенные имения. Стряпчий, молодой еще мальчик, придирается и ставит крючки уездному суду на каждом протоколе, хоть сколько-нибудь выгодном для интереса. Даже старичишка городничий, при всей своей доброте, был с лекарем на ножах, по случаю общих распоряжений больничными суммами. Два брата Масляниковы, довольно богатые купцы, не дальше как на днях, деливши отцовское наследство, на площади, при всем народе, дрались и таскали друг друга за волосы из-за вытертой батьиной енотовой шубы. Где ж тут дружелюбие? Скорее ненависть, злоба и зависть здесь царствовали, и только, сверх того, над всем этим царила какая-то мертвенность и скука, так что даже отерпевшиеся старожилы-чиновники и те скучали. Срывки нынче по службе тоже пошли выпадать все маленькие, ничтожные, а потому карточная игра посерьезнее совершенно прекратилась: только и осталось одно развлечение, что придет иногда заседатель уездного суда к неперемennomu члену, большому своему приятелю, поздоровается с ним... и оба зевнут.

– Что, Семен Григорьич, нет ли чего новенького? – спросит один.

– Нет, не слыхал, – ответит другой, и опять оба зевнут.

– А что, – спросит первый, – вы пешком или на лошади?

– А что же? – спросит в свою очередь второй.

– Да так; не хотите ли к Семенову зайти? Мне винца столового надо посмотреть.

– Хорошо; зайдемте.

Зайдут к Семенову, а тут кстати раскупорят, да и разопьют бутылочки две мадеры и домой уж возвратятся гораздо повеселее, тщательно скрывая от жен, где были и что делали; но те всегда догадываются по глазам и делают по этому случаю строгие выговоры, сопровождаемые иногда слезами. Чтоб осушить эти слезы, мужья дают обещание не заходить никогда к Семенову; но им весьма основательно не верят, потому что обещания эти нарушаются много через неделю.

Герой мой был слишком еще молод и слишком благовоспитан, чтобы сразу втянуться в подобного рода развлечение; да, кажется, и по характеру своему был совершенно не склонен к тому. Соскучившись развлекаться изучением города, он почти каждый день обедал у Годневых и оставался обыкновенно там до поздней ночи, как в единственном уголку, где радушно его приняли и где все-таки он видел человечески развитых людей; а может быть, к тому стала привлекать его и другая, более существенная причина; но во всяком случае, проводя таким образом вечера, молодой человек отдал приличное внимание и службе; каждое утро он проводил в училище, где, как выражался математик Лебедев, успел уж показать когти: первым его распоряжением было – уволить Терку, и на место его был нанят молодцеватый вахмистр. В четверг, который был торговым днем в неделе, многие из учеников, мещанских детей, не приходили в класс и присутствовали на базаре: кто торговал в лавке за батьку, а кто и так зевал. Калинович, узнав об этом, призвал отцов и объявил, что если они станут удерживать по торговым дням детей, то он выключит их. Те думали, что новый смотритель подарочка хочет, сложились и общими силами купили две головки сахара и фунтика два чаю и принесли все это ему на поклон, но были, конечно, выгнаны позорным образом, и потом, когда в следующий четверг снова некоторые мальчики не явились, Калинович на другой же день всех их выключил – и ни просьбы, ни поклоны отцов не заставили его изменить своего решения. В продолжение классов он сидел то у того, то у другого из учителей, с явной целью следить за способами их преподавания. Лебедев, толкуя таблицу извлечения корней, не то чтоб спутался, а позамялся немного и тотчас же после класса позван был в смотрительскую, где ему с холодной вежливостью замечено, что учитель с преподаваемою им наукою должен быть совершенно знаком и что при недостатке сведений лучше избрать какую-нибудь другого рода службу. Зверолов целый месяц не ходил за охотой и все повторял.

– Вот, – говорил он, потрясая своей могучей, совершенно нечесанной головой, – долби зады! Как бы взять тебя, молокососа, да из хорошей винтовки шаркнуть пулей, так забыл бы важничать!

Румянцев до невероятности подделывался к новому начальнику. Он бегал каждое воскресенье поздравлять его с праздником, кланялся ему всегда в пояс, когда тот приходил в класс, и, наконец, будто бы даже, как заметили некоторые школьники, проходил мимо смотрительской квартиры без шапки. Но все эти искания не достигали желаемой цели: Калинович оставался с ним сух и неприветлив.

Впрочем, больше всех гроза разразилась над Экзархатовым, который крепился было месяца четыре, но, получив январское жалованье, не вытерпел и выпил; домой пришел, однако, тихий и спокойный; но жена, по обыкновению, все-таки начала его бранить и страшать, что пойдет к новому смотрителю жаловаться.

– А! Яшка Калинович, – воскликнул он, сжимая кулак и потрясая им, как трагический актер, – боюсь я какого-нибудь Яшки Калиновича! Врет он! Он не узнал меня: ему стыдно было поклониться Экзархатову, – так знай же, что я презираю его еще больше – подлец! Я в ноги поклонюсь Петру Михайлычу, а перед ним на полвершка не согну головы!.. Он отрекся от старого товарища – подлец! Ступай к нему, змея подколодная, иди под крыло и покровительство тебе подобного Калиновича! – продолжал он, приближаясь к жене; но та стала уж в оборонительное положение и, вооружившись кочергою, кричала, в свою очередь:

– Только тронь! Только тронь! Так вот крюком оба глаза и выворочу!

Две младшие девчонки, испугавшись за мать, начали реветь. На крик этот пришел домовый хозяин, мещанин, и стал было унимать Экзархатова; но тот, приняв грозный вид, закричал на него:

– Плебей, иди вон!

Но плебей не шел. Экзархатов схватил его за шиворот и приподнял на воздух; но в это время ему самому жена вцепилась в галстук; девчонки еще громче заревели... словом, произошла довольно неприятная домашняя сцена, вследствие которой Экзархатова, подхватив с собой домохозяина, отправилась с жалобой к смотрителю, все-про-все рассказала ему о своем озорнике, и чтоб доказать, сколько он человек буйный, не скрyla и того, какие он про него, своего начальника, говорил поносные слова. Это же самое подтвердил и хозяин дома. Калинович выслушал их очень внимательно и спокойно.

– Очень хорошо, распорядись, – сказал он и велел им идти домой, а сам тотчас же написал городничему отношение о производстве следствий о буйных и неприличных поступках учителя Экзархатова и, кроме того, донес с первую же почтою об этом директору. Когда это узналось и когда глупой Экзархатовой растолковали, какой ответственности подвергается ее муж, она опять побежала к смотрителю, просила, кланялась ему в ноги.

– Батюшка, – молила она, – не пусти по миру! Мало ли что у мужа с женой бывает – не все в согласии живут. У нас с ним эти побоища нередко бывали – все сходило... Помилуй, отец мой!

Пришел и хозяин дома с этой же просьбой.

– Я, сударь, говорит, не ищу; вот те царица небесная, не ищу; тем, что он человек добрый и дал только тебе за извет, а ничего не ищу.

На все эти просьбы Калинович отвечал:

– Я ничего теперь больше не могу сделать с своей стороны, – и не стал больше слушать. Экзархатова бросилась после этого к Петру Михайлычу и рассказала ему все, как было.

– Дура вы, сударыня, хоть и дама! Кутить да мутить только умеете! – отвечал он ей.

– Батюшка, Петр Михайлыч, если бы я это знала! Принимаючи от нас просьбу, хоть бы вспыхнул: тихо да ласково выслушал, а сам кровь хочет пить – аспид этакой!

– То-то и есть, а меня так потатчиком называли, – проговорил Петр Михайлыч и пошел к Калиновичу.

– Яков Васильич, отец и командир! – говорил он, входя. – Что это вы затеяли с Экзархатовым? Плюньте, бросьте! Он уж, ручаюсь вам, больше никогда не будет... С ним это, может быть, через десять лет случается... – солгал старик в заключение.

– Я ничего не могу теперь сделать, – отвечал Калинович и объяснил, что он донес уже директору.

– Ах, боже мой! Боже мой! – говорил Петр Михайлыч. – Какой вы молодой народ вспыльчивый! Не разобрав дела, бабы слушать – нехорошо... нехорошо... – повторил он с досадою и ушел домой, где целый вечер сочинял к директору письмо, в котором, как прежний начальник, испрашивал милосердия Экзархатову и клялся, что тот уж никогда не сделает в другой раз подобного проступка.

Ходатайство его было по возможности успешно: Экзархатову сделали строгий выговор и перевели в другой город. Когда тот пришел прощаться, старик, кажется, приготавлился было сделать ему строгое внушение, но, увидев печальную фигуру своего любимца, вместо всякого наставления спросил, есть ли у него деньги на дорогу. Экзархатов покраснел и ничего не отвечал. Петр Михайлыч потихоньку и очень проворно сунул ему в руку десять рублей серебром. Экзархатов вместо ответа хотел было поймать у него руку и поцеловать, но Годнев остерегся. Из первого же города бедняк прислал письмо, которое все было испещрено пятнами от слез. Читая его, Петр Михайлыч расчувствовался и сам прослезился. Когда Настенька спросила его, что такое с ним, он отвечал:

– В гроб с собой возьму это письмо! Царь небесный простит мне за него хоть один из моих грехов.

Вскоре пришел Калинович и, заметив, что Петр Михайлыч в волнении, тоже спросил, что такое случилось. Настенька рассказала.

– В гроб, сударь, возьму с собой это письмо! – повторил и ему Петр Михайлыч.

Калинович в ответ на это только переглянулся с Настенькой, и оба слегка улыбнулись.

Вообще между стариком и молодыми людьми стали постоянно возникать споры по поводу всевозможных житейских случаев: исключали ли из службы какого-нибудь маленького чиновника, Петр Михайлыч обыкновенно говорил: «Жаль, право, жаль!», а Калиновичу, напротив, доставляло это даже какое-то удовольствие.

– С ним не то бы еще надобно было сделать, – замечал он.

– Эх, Яков Васильич! – возражал Петр Михайлыч. – Семьянин, сударь! Чем теперь станет питаться с семьей?

– Он делал зло тысячам, так им одним с его семьей можно пожертвовать для общей пользы, – отвечал Калинович.

– Знаю-с, – восклицал Петр Михайлыч, – да пострадать бы сначала, так, может быть, и исправился бы!

Затевалась ли в городе свадьба, или кто весело справлял именины, Петр Михайлыч всегда с удовольствием рассказывал об этом. «Люблю, как люди женятся и веселятся», – заключал он; а Калинович с Настенькой начнут обыкновенно пересмеивать и доказывать, что все это очень пошло и глупо, так что старик выходил, наконец, из себя и даже прикрикивал, особенно на дочь, которая, в свою очередь, не скрываясь и довольно дерзко противоречила всем его мягким и жизненным убеждениям, но зато Калиновича слушала, как оракула, и соглашалась с ним безусловно во всем.

Когда Петр Михайлыч начал в своей семье осуждать резкие распоряжения молодого смотрителя по училищу, она горячо заступалась и говорила:

– Не может же благородно мыслящий человек терпеть это спокойно!

Фразу эту она буквально заимствовала у Калиновича.

– Зло есть во всех, – возражал ей запальчиво Петр Михайлыч, – только мы у других видим сучок в глазу, а у себя бревна не замечаем.

– Что ж, папенька, неужели же Калинович хуже всех этих господ? – спрашивала Настенька с насмешкой.

– Я не говорю этого, – отвечал уклончиво старик, – человек он умный, образованный, с поведением... Я его очень люблю; но сужу так, что молод еще, заносчив.

Несмотря на споры, Петр Михайлыч действительно полюбил Калиновича, звал его каждый день обедать, и когда тот не приходил, он или посылал к нему, или сам отправлялся навещать, не прихворнул ли юноша.

Насчет дальнейших видов Палагеи Евграфовны старик был тоже не прочь и, замечая, что Калинович нравится Настеньке, любил по этому случаю потрунить.

– Кого ты ждешь, по ком тоскуешь? – говорил он ей комическим голосом, когда она сидела у окна и прилежно смотрела в ту сторону, откуда должен был прийти молодой зритель.

Настеньке было это досадно. Провожая однажды вместе с капитаном Калиновича, она долго еще с ним гуляла, и когда воротились домой, Петр Михайлыч запел ей навстречу:

Как вчера своего милого
Провожала далеко!

Настенька вспыхнула.

– Что это, папенька, за шутки? Это обидно! – проговорила она и ушла в свою комнату. Через полчаса к ней явился было капитан.

– Братец очень огорчен, что вы сердитесь на них. Подите помиритесь и попросите у них прощения, – проговорил он.

Но Настенька не пошла и самому капитану сказала, чтоб он оставил ее в покое. Тот посмотрел на нее с грустной улыбкой и ушел.

Вообще Флегонт Михайлыч в последнее время начал держать себя как-то странно. Он ни на шаг обыкновенно не оставлял племянницы, когда у них бывал Калинович: если Настенька сидела с тем в гостиной – и он был тут же; переходили молодые люди в залу – и он, ни слова не говоря, а только покуривая свою трубку, следовал за ними; но более того ничего не выражал и не высказывал.

Частые посещения молодого зрителя к Годневым, конечно, были замечены в городе и, как водится, перетолкованы. Первая об этом пустила ноту приказничиха, которая совершенно переменяла мнение о своем постояльце – и произошло это вследствие того, что она принялась было делать к нему каждодневные набеге, с целью получить приличное угощение; но, к удивлению ее, Калинович не только не угощал ее, но даже не сажал и очень холодно спрашивал: «Что вам угодно?»

– Подлинно, матери мои, человека не узнаешь, пока пуд соли не съешь, – говорила она, – то ли уж мне на первых порах не нравился мой постоялец, а вышел прескупой-скупой мужчина. Кусочка, матери мои, не уволит дома съесть, белого хлебца к чайку не купит. Все пустым брандыхлыстом брюхо наливает, а коли дома теперь сидит – как собака голодный, так без ужина и ляжет. Только и кормится, что у Годневых; ну а те, тоже знаем, из чего прикармливают. Девкато, говорят, на стену лезет – так ей за этого жениха желается, и дай бог ей, конечно: кто того из женщин не желает?

Все эти слухи глубоко поразили сердце все еще влюбленного Медиокритского. Ровно трои сутки молодой столоначальник пил с горя в трактире с приятелем своим, писцом казначейства Звездкиным, который был при нем чем-то вроде наперсника: поверенный во всех его сердечных тайнах, он обыкновенно курил на его счет табак и жуировал в трактирах, когда у

Медиокритского случались деньги. Разговор между приятелями был, как видно, на этот раз задушевный. Медиокритский держал в руках гитару. Потрынькивая на ней в раздумье, он час от часу становился мрачней и начинал уж, как говорится, «погасать».

– Саша!.. Друг!.. Сыграй что-нибудь, отведи мою душу! – начал Звездкин, тоже сильно выпивший.

Медиокритский вместо ответа взял в прищипку на гитаре аккорд и запел песню собственного сочинения:

Знаешь девушку иль нет,
Черноглазу, черноброву?
Ах, где, где, где?
Во Дворянской слободе.
Как та девушка живет,
С кем любовь свою ведет?
Ах, где, где, где?
Во Дворянской слободе.
Ходит к ней, знать, молодец,
Не боярин, не купец.
Ах, где, где, где?

Во Дворянской слободе.

– А прочее сами понимайте и на ус мотайте! – заключил он и, взъерошив себе еще больше волосы, спросил две пары пива.

– Слушай, Саша! Я тебя люблю и все знаю и понимаю, – продолжал Звездкин.

– погоди, постой! – начал Медиокритский, ударив себя в грудь. – Когда так, правду говорить, она и со мной амурничала.

– Знаю, – подтвердил Звездкин.

– Постой! – перебил Медиокритский, подняв руку кверху. – Голова моя отчаянная, в переделках я бывал!.. погоди! Я ее оконфужу!.. Перед публикой оконфужу! – И затем что-то шепнул приятелю на ухо.

– Важно, Саша! Слушай! Ты меня тоже знаешь, валяй, брат!.. Коли я тебе это говорю, ну, и баста! – подтвердил Звездкин.

– И баста! – подтвердил Медиокритский совершенно уж потухающим голосом.

VII

Невдолге после описанных мною сцен Калиновичу принесли с почты объявление о страховом письме и о посылке на его имя. Всегда спокойный и ровный во всех своих поступках, он пришел на этот раз в сильное волнение: тотчас же пошел скорыми шагами на почту и начал что есть силы звонить в колокольчик. Почтмейстер отворил, по обыкновению, двери сам; но, увидев молодого смотрителя, очень сухо спросил своим мрачным голосом:

– Что вам угодно?

Калинович стал просить выдать ему письмо.

– Нет, сударь, не могу: сегодня день почтовый, – возразил спокойно почтмейстер, идя в залу, куда за ним следовал, почти насильно врываясь, Калинович.

– Не могу, сударь, не могу! – повторял почтмейстер. – Вы вот сами отказали мне в книжках, аки бы не приняли еще библиотеки, и я не могу: закон не обязывает меня производить сегодня выдачу.

Калинович извинялся и уверял, что он сейчас же пойдет в училище и пришлет каких только угодно ему книг.

– Дорога, сударь, милостыня в минуту скудости, – возражал почтмейстер, – вы меня, больного человека, в минуту душевной и телесной скорби не утешили единственным моим развлечением.

Калинович продолжал извиняться и просить с совершенно несвойственным ему тоном унижения, так что старик уставил на него пристальный взгляд и несколько минут как бы пытал его глазами.

– Что же вас так интересуется это письмо? – заговорил он. – Завтра вы будете иметь его в руках ваших. К чему такое домогательство?

– Это письмо, – отвечал Калинович, – от матери моей; она больна и извещает, может быть, о своих последних минутах... Вы сами отец и сами можете судить, как тяжело умирать, когда единственный сын не хочет закрыть глаз. Я, вероятно, сейчас же должен буду ехать.

Последние слова смягчили почтмейстера.

– Если так, то, конечно... в наше время, когда восстает сын на отца, брат на брата, дочери на матерей, проявление в вас сыновней преданности можно назвать искрой небесной!.. О господи помилуй, господи помилуй, господи помилуй! Не смею, сударь, отказывать вам. Пожалуйста! – проговорил он и повел Калиновича в контору.

– Какой ваша матушка имеет прекрасный почерк! – сказал он, осматривая внимательно конверт и посылку.

– Это один родственник надписывал, – отвечал Калинович, торопливо беря то и другое и раскланиваясь.

– Книжечками не забудьте меня за мою службу! – говорил ему вслед почтмейстер.

Калинович что-то пробормотал ему в ответ и, сойдя проворно с лестницы, начал читать письмо на ходу, но, не кончив еще первой страницы, судорожно его смял и положил в карман.

Возвратившись домой, он прямо прошел в свой кабинет и сел в каком-то изнеможении. Жалко было видеть его в эти минуты: обычно спокойное и несколько холодное лицо его искажилось выражением полного отчаяния, пульсовые жилы на висках напряглись – точно вся кровь прилила к голове. Видимо, что это был для моего героя один из тех жизненных щелчков, которые сразу рушат и ломают у молодости дорогие надежды, отнимают силу воли, силу к деятельности, веру в самого себя и делают потом человека тряпкою, дрянью, который видит впереди только необходимость жить, а зачем и для чего, сам того не знает. В продолжение всего этого дня Калинович не пошел к Годневым, хотя и приходил было оттуда кучер звать его пить чай. Весь вечер и большую часть дня он ходил взад и вперед по комнате и пил беспрестанно воду, а

поутру, придя в училище, так посмотрел на стоявшего в прихожей сторожа, что у того колени задрожали и руки вытянулись по швам.

У Румянцева, как нарочно, произошел в этот день большой беспорядок в классе. Известный уже нам Калашников, сидевший в третьем классе третий год, вдруг изобрел прозвать преподавателя словесности красноглазым зайцем и предложил классу потравить его: «А коли кто, говорит, не хочет, так сказывайся, я тому сейчас ребра переломаяю», и все, конечно, согласились. Румянцев пришел, по обыкновению, напomaженный, причесанный и, жеманясь, сел за свой столик, как вдруг Калашников, наклонив голову под парту, прокричал басом:

– Ату его!

Румянцев взглянул в его сторону.

– Ату его! Ату его! – слышались дисканты на другом конце.

Словесник вскочил:

– Господа! Что это значит? – проговорил он.

– Ату его! Ату его! – отвечала ему вся первая скамейка, и, наконец, все.

– Ату его! Ату его!

Румянцев выбежал и бросился с жалобой к смотрителю. Калинович пришел: пересек весь класс, причем Калашникову дано было таких двести розог, что тот, несмотря на крепкое телосложение, несколько раз просил во время операции холодной воды, а потом, прямо из училища, не заходя домой, убежал куда-то совсем из города. Наставник тоже не спасся. Калинович позвал его в смотрительскую и целый час пудрил ему голову, очень основательно доказывая, что, если ученики общей массой дурят, стало быть, учитель и глуп и бесхарактерен. Робкий словесник, возвратясь домой, проплакал вместе с матерью целую ночь, не зная, что потом будет с его бедной головой.

Между тем у Гodneвых ожидали Калиновича с нетерпением и некоторым беспокойством. В урочный час уж капитан явился и, по обыкновению, поздоровавшись с братом, уселся на всегдашнее свое место и закурил трубку.

– Настя, а Настя! – крикнул Петр Михайлыч.

– Что, папаша? – отозвалась та.

– Поди сюда, друг мой.

Настенька вышла в новом платье и в завитых локонах. С некоторого времени она стала очень заниматься своим туалетом.

– Да что Калинович, придет к нам сегодня или нет? Здоров ли он? Не послать ли к нему? – сказал Петр Михайлыч.

– Я посылала к нему, папаша; придет, я думаю, – отвечала Настенька и села у окна, из которого видно было здание училища.

С некоторого времени всякий раз, когда Петр Михайлыч собирался послать к Калиновичу, оказывалось, что Настенька уж посылала.

Часа в два молодой смотритель явился, наконец, мрачный. Он небрежно кивнул головой капитану, поклонился Петру Михайлычу и дружески пожал руку Настеньке.

– Что вы такие сегодня? – сказала она, когда Калинович сел около нее и задумался.

– Мальчишки, верно, рассердили! – подхватил Петр Михайлыч. – Они меня часто выводили из терпения: расстроят, бывало, хуже больших. Выпейте-ка водочки, Яков Васильич: это успокоит вас. Эй, Палагея Евграфовна, пожалуйста нам хмельного!

Водка была подана, но Калинович отказался.

– Отчего вы не хотите сказать, что такое с вами? Это странно с вашей стороны, – сказала ему Настенька.

– Что ж вам так любопытно? Очень обыкновенный случай: новая неудача! – проговорил он как бы нехотя.

– Что такое? – спросила Настенька с беспокойством, но Калинович вздохнул и опять на некоторое время замолчал.

– Хоть бы один раз во всю жизнь судьба потешила! – начал он. – Даже из детства, о котором, я думаю, у всех остаются приятные и светлые воспоминания, я вынес только самые грустные, самые тяжелые впечатления.

Калинович прежде никогда ничего не говорил о себе, кроме того, что он отца и матери лишился еще в детстве.

– Сколько я себя ни помню, – продолжал он, обращаясь больше к Настеньке, – я живу на чужих хлебах, у благодетеля (на последнем слове Калинович сделал ударение), у благодетеля, – повторил он с гримасой, – который разорил моего отца, и когда тот умер с горя, так он, по великодушию своему, призрел меня, сироту, а в сущности приставил пестуном к своим двум сыновьям, болванам, каких когда-либо свет создавал.

– А! Скажите, пожалуйста! – произнес Петр Михайлыч.

– И между тем, – продолжал Калинович, опять обращаясь более к Настеньке, – я жил посреди роскоши, в товариществе с этими глупыми мальчишками, которых окружала любовь, для удовольствия которых изобретали всевозможные средства... которым на сто рублей в один раз покупали игрушек, и я обязан был смотреть, как они играют этими игрушками, не смея дотронуться ни до одной из них. Мной они обыкновенно располагали, как вещью: они закладывали меня в тележку, которую я должен был возить, и когда у меня не хватало силы, они меня щелкали; и если я не вытерпывал и осмеливался заплакать, меня же сажали в темную комнату, чтоб отучить от капризов. Лакеи, и те находили какое-то особенное удовольствие обносить меня за столом кушаньями и не чистить мне ни сапогов, ни платья.

– Это ужасно! – проговорила Настенька.

– Господи помилуй! – воскликнул Петр Михайлыч.

– Интереснее всего было, – продолжал Калинович, помолчав, – когда мы начали подрастать и нас стали учить: дурни эти мальчишки ничего не делали, ничего не понимали. Я за них переводил, решал арифметические задачи, и в то время, когда гости и родители восхищались их успехами, обо мне обыкновенно рассказывалось, что я учусь тоже недурно, но больше беру прилежанием... Словом, постоянное нравственное унижение!

Петр Михайлыч только разводил руками. Настенька задумалась. Капитан не так мрачно смотрел на Калиновича. Вообще он возбудил своим рассказом к себе живое участие.

– Я по крайней мере, Яков Васильич, радуюсь, – заговорил Петр Михайлыч, – что бог привел вас кончить курс в университете.

Калинович горько улыбнулся.

– Курс кончить! – произнес он. – Надобно спросить, чего это мне стоило. Как нарочно все случилось: этот благодетель мой, здоровый как бык, вдруг ни с того ни с сего помирает, и пока еще он был жив, хоть скудно, но все-таки совесть заставляла его оплачивать мой стол и квартиру, а тут и того не стало: за какой-нибудь полтинник должен был я бегать на уроки с одного конца Москвы на другой, и то слава богу, когда еще было под руками; но проходили месяцы, когда сидел я без обеда, в холодной комнате, брался переписывать по гривеннику с листа, чтоб иметь возможность купить две – три булки в день.

– Ужасно! – повторила Настенька.

– Именно ужасно! – подхватил Петр Михайлыч.

Калинович вздохнул и продолжал:

– Отстрадал, наконец, четыре года. Вот, думаю, теперь вышел кандидатом, дорога всюду открыта... Но... чтоб успевать в жизни, видно, надобно не кандидатство, а искательство и подличанье, на которое, к несчастью, я не способен. Моих же товарищей, идиотов почти, послали и за границу и понаделили бог знает чем, потому что они забегали к профессорам с заднего

крыльца и целовали ручки у их супруг, немецких кухарок; а мне выпало на долю это смотрительство, в котором я окончательно должен погрязнуть и задохнуться.

– Да, да, какое уж это для вас место! – подтвердил Петр Михайлыч. – Сколько я сужу, оно вам не по характеру, да и мало по вашим способностям.

– Грустно и тошно становится! – почти воскликнул Калинович, ударив себя в грудь. – Наконец, злоба берет, когда оглянешься на свое прошедшее; хоть бы одна осуществившаяся надежда! Неблагодарные труды и вечные лишения – вот все, что дала мне жизнь!.. Как хотите, с каким бы человек ни был рожден овечьим характером, невольно начнет ожесточаться!.. И вы, Петр Михайлыч, еще часто меня укоряете за бессердечие! Но боже мой! Как же я стану питать к людям сожаление, когда большая часть из них страдает или потому, что безнравственны, или потому, что делали глупости, наконец, ленивы, небрежны к себе. Я ни в чем этом не виноват и все-таки страдаю... Я хочу и буду вымещать на порочных людях то, что сам несу безвинно.

При последних словах лицо молодого человека приняло какое-то ожесточенное выражение.

– Вы совершенно правы в ваших чувствах, – сказала Настенька.

– Я, сударь, не осуждаю вас, я желаю только, чтоб господь бог умирил ваше сердце, – только! – проговорил Петр Михайлыч.

Калинович встал и начал ходить по комнате, ни слова не говоря. Хозяева тоже молчали, как бы боясь прервать его размышления.

– Что ж вас так сегодня именно встревожило? – проговорила Настенька голосом, полным участия.

– То, что я не говорил вам, но, думая хоть каким-нибудь путем выбиться, – написал повесть и послал ее в Петербург, в одну редакцию, где она провалялась около года, и теперь получил назад при этом письме. Не хотите ли полюбопытствовать и прочесть? – проговорил Калинович и бросил из кармана на стол письмо, которое Петр Михайлыч взял и стал было читать про себя.

– Читайте, папенька, вслух! – проговорила с досадою Настенька.

Петр Михайлыч начал:

«Любезный друг.

Ты, я думаю, проклинаешь меня за мое молчание, хоть я и не виноват: повесть твою я сейчас же снес по назначению, но ответ получил только на днях. Мне возвратили ее с таким приговором, что редакция запасена материалом уж на целый год. Не огорчайся этой неудачей: роман твой, по-моему, очень хорош, но вся штука в том, что редакции у нас вроде каких-то святилищ, в которые доступ простым смертным невозможен, или, проще сказать, у редактора есть свой кружок приятелей, с которыми он имеет свои, конечно, очень выгодные для него денежные счета. Они наполняют у него все рубрики журнала, производя каждого из среды себя, посредством взаимного курения, в гении; из этого ты можешь понять, что пускать им новых людей не для чего; кто бы ни был, посылая свою статью, смело может быть уверен, что ее не прочтут, и она проваляется с старым хламом, как случилось и с твоим романом».

Старик не в состоянии был читать далее и бросил письмо.

– Как же редактор может не прочесть? – воскликнул он с запальчивостью. – В этом его прямое назначение и обязанность.

– Его назначение и обязанность набивать свой карман, – сказал Калинович.

– Именно! – подтвердил Петр Михайлыч. – После этого они не проводники образования, а алтынники; после этого им бы в лавке сидеть, а не словесностью заниматься! Возбранять ход новым дарованиям – тьфу!

Калинович продолжал ходить взад и вперед.

– Послушайте, вы прочтете нам ваш роман? – сказала Настенька.

– Пожалуй, как-нибудь выберем время, – отвечал Калинович.

– Чего тут выбирать!.. Откладывать нечего: извольте сегодня же нам прочесть. Я вот немного сосну, а вы между тем достаньте вашу тетраду, – подхватил Петр Михайлыч.

– Я за тетрадью, папенька, пошлю Катю, – сказала Настенька, – а сами вы не должны ходить, без вас найдут, – прибавила она Калиновичу.

– Хорошо, – отвечал тот.

После обеда Петр Михайлыч тотчас отправился в свой кабинет, а Настенька села рядом и довольно близко около Калиновича.

– Вы давно написали ваш роман? – сказала она.

– Года полтора, – отвечал тот.

– А нынче вы пишете что-нибудь?

– Пишу и нынче, – отвечал Калинович с расстановкой.

– Что ж вы нынче пишете?

– Знакомое вам.

– Знакомое мне? – повторила Настенька, потупившись. – Вы и это должны нам прочесть: это для меня еще интереснее, – прибавила она.

– Оно еще не кончено.

– Отчего?

– Оттого, что не от меня зависит: я не знаю, чем еще кончится.

– А я думаю, что вы должны знать.

– Нет, не знаю... – отвечал Калинович.

Таковыми намеками молодые люди говорили вследствие присутствия капитана, который и не думал идти к своим птицам, а преспокойно уселся тут же, в гостиной, развернул книгу и будто бы читал, закуривая по крайней мере шестую трубку. Настенька начала с досадою отмахивать от себя дым.

– Ваш страж не оставляет вас, – сказал Калинович по-французски.

– Несносный! – отвечала она тихо и с маленькой гримасой, а потом, обратившись к дяде, сказала:

– Что вы, дяденька, за охотой не ходите! Мне очень хочется дичи... Хоть бы сходили и убили что-нибудь.

– Ружье в починку отдал... попортилось... – отвечал капитан.

– Возьмите у Лебедева.

– Их дома, кажется, нет-с. Они верст за тридцать на облаву пошли.

– Нет, он дома: сегодня был в училище, – возразил Калинович.

Капитан покраснел.

– К ихним ружьям я не привык-с, мне из них ничего не убить-с, – отвечал он, заикаясь.

Понятно, что капитан безбожно лгал. Настенька сделала нетерпеливое движение, и когда подошла к ней Дианка и, положив в изъявление своей ласки на колени ей морду, занесла было туда же и лапу, она вдруг, чего прежде никогда не бывало, ударила ее довольно сильно по голове, проговоря:

– Ваша собака, дяденька, вечно измариет мне платье.

– Венез-иси! – сказал капитан.

Дианка посмотрела с удивлением на Настеньку, как бы не понимая, за что ее треснули, и подошла к своему патрону.

– Иси, куш! – повторил строго капитан, и Дианка смиренно улеглась у его ног.

Напрасно в продолжение получаса молодые люди молчали, напрасно заговаривали о предметах, совершенно чуждых для капитана: он не трогался с места и продолжал смотреть в книгу.

– Есть с вами папиросы? – сказала, наконец, Настенька Калиновичу.

– Есть, – отвечал он.

– Дайте мне.

Калинович подал.

– А сами хотите курить?

– Недурно.

– Пойдемте, я вам достану огня в моей комнате, – сказала она и пошла. Калинович последовал за ней.

Войдя в свою комнату, Настенька как бы случайно притворила дверь.

Капитан, оставшись один, сидел некоторое время на прежнем месте, потом вдруг встал и на цыпочках, точно подкрадываясь к чуткой дичи, подошел к дверям племянницыной комнаты и приложил глаз к замочной скважине. Он увидел, что Калинович сидел около маленького столика, потупя голову, и курил; Настенька помещалась напротив него и пристально смотрела ему в лицо.

– Вы не можете говорить, что у вас нет ничего в жизни! – говорила она вполголоса.

– Что ж у меня есть? – спросил Калинович.

– А любовь, – отвечала Настенька, – которая, вы сами говорите, дороже для вас всего на свете. Неужели она не может вас сделать счастливым без всего... одна... сама собою?

– По моему характеру и по моим обстоятельствам надобно, чтоб меня любили слишком много и даже слишком безрассудно! – отвечал Калинович и вздохнул.

Настенька покачала головой.

– Так неужели еще мало вас любят? Не грех ли вам, Калинович, это говорить, когда нет минуты, чтоб не думали о вас; когда все радости, все счастье в том, чтоб видеть вас, когда хотели бы быть первой красавицей в мире, чтоб нравиться вам, – а все еще вас мало любят! Неблагодарный вы человек после этого!

Капитан покраснел, как вареный рак, и стал еще внимательнее слушать.

– Любовь доказывается жертвами, – сказал Калинович, не переменив своего задумчивого положения.

– А разве вам не готовы принести жертву, какую вы только потребуете? Если б для вашего счастья нужна была жизнь, я сейчас отдала бы ее с радостью и благословила бы судьбу свою... – возразила Настенька.

Калинович улыбнулся.

– Это говорят все женщины, куда дело не дойдет до первой жертвы, – проговорил он.

– Зачем же говорить, когда не чувствуешь? С какой целью? – спросила Настенька.

– Из кокетства.

– Нет, Калинович, не говорите тут о кокетстве! Вы вспомните, как вас полюбили? В первый же день, как вас увидели; а через неделю вы уж знали об этом... Это скорей сумасшествие, но никак не кокетство.

Проговоря это, Настенька отвернулась; на глазах ее показались слезы.

– Помиримтесь! – сказал Калинович, беря и целуя ее руки. – Я знаю, что я, может быть, неправ, неблагодарен, – продолжал он, не выпуская ее руки, – но не обвиняйте меня много: одна любовь не может наполнить сердце мужчины, а тем более моего сердца, потому что я честолюбив, страшно честолюбив, и знаю, что честолюбие не безрассудное во мне чувство. У меня есть ум, есть знание, есть, наконец, сила воли, какая немногим дается, и если бы хоть раз шагнуть удачно вперед, я ушел бы далеко.

– Вы должны быть литератором и будете им! – проговорила Настенька.

– Не знаю... вряд ли! Между людьми есть счастливые и несчастные. Посмотрите вы в жизни: один и глуп, и бездарен, и ленив, а между тем ему плывет счастье в руки, тогда как другой каждый ничтожный шаг к успеху, каждый кусок хлеба должен завоевывать самым усиленным трудом: и я, кажется, принадлежу к последним. – Сказав это, Калинович взял себя за голову, облокотился на стол и снова задумался.

– Послушайте, Калинович, что ж вы так хандрите? Это мне грустно! – проговорила Настенька вставая. – Не извольте хмуриться – слышите? Я вам приказываю! – продолжала она, подходя к нему и кладя обе руки на его плечи. – Извольте на меня смотреть весело. Глядите же на меня: я хочу видеть ваше лицо.

Калинович взглянул на нее, взял тихонько ее за талию, привлек к себе и поцеловал в голову.

С лица капитана капал крупными каплями пот; руки делали какие-то судорожные движения и, наконец, голова затекла, так что он принужден был приподняться на несколько минут, и когда потом взглянул в скважину, Калинович, обняв Настеньку, целовал ей лицо и шею...

– Анастаси... – говорил он страстным шепотом, и дальше – увы! – тщетно капитан старался прислушиваться: Калинович заговорил по-французски.

– Зачем?.. – отвечала Настенька, скрывая на груди его свое пылавшее лицо.

– Но, друг мой... – продолжал Калинович и опять заговорил по-французски.

– Нет, это невозможно! – отвечала Настенька, выпрямившись.

– Отчего же?

– Так... – отвечала Настенька, снова обнимая Калиновича и снова прижимаясь к его груди. – Я тебя боюсь, – шептала она, – ты меня погубишь.

– Ангел мой! Сокровище мое! – говорил Калинович, целуя ее, и продолжал по-французски...

Настенька слушала его внимательно.

– Нет, – сказала она и вдруг отошла и села на прежнее свое место.

Лицо Калиновича в минуту изменилось и приняло строгое выражение. Он начал опять говорить по-французски и говорил долго.

– Нет! – повторила Настенька и пошла к дверям, так что капитан едва успел отскочить от них и уйти в гостиную, где уже сидел Петр Михайлыч. Настенька вошла вслед за ним: лицо ее горело, глаза блистали.

– Где же наш литератор? – спросил Петр Михайлыч.

– Он, я думаю, сейчас придет, – отвечала Настенька, села к окну и отворила его.

– Полно, душа моя! Что это ты делаешь? Холодно, – заметил ей Петр Михайлыч.

– Нет, папаша, ничего, позвольте... мне душно... – отвечала Настенька.

Вошел Калинович.

– Милости просим! Портфель ваша здесь, принесена. Извольте садиться и читать, а мы будем слушать, – сказал Петр Михайлыч.

– Нет, Петр Михайлыч, извините меня: я сегодня не могу читать, – отвечал Калинович.

– Это что такое? Отчего не можете? – спросил с удивлением Петр Михайлыч.

– Что-то нездоровится; в другое время как-нибудь.

– Полноте, что за вздор! Неужели вас эти редакторы так опечалили? Врут они: мы заставим их напечатать! – говорил старик. – Настенька! – обратился он к дочери. – Уговори хоть ты как-нибудь Якова Васильича; что это такое?

Настенька ничего не сказала и только посмотрела на Калиновича.

– Решительно сегодня не могу читать, – отвечал тот и, взяв портфель, шляпу и поклонившись всем общим поклоном, ушел.

– Вот тебе и раз! – проговорил Петр Михайлыч. Что с ним сделалось! Настенька, не знаешь ли ты, отчего он не хотел читать?

– Он на меня, папенька, рассердился: я сказала ему, что он не может быть литератором, – отвечала Настенька.

При этом ответе ее капитан как-то странно откашлянулся.

– Экая ты, душа моя! Зачем это? Он и так расстроен, а ты его больше сердишь!

– Очень нужно! Пускай сердится! Я сама на него сердита, – сказала Настенька и, напоив всех торопливо чаем, сейчас же ушла к себе в комнату.

Два брата, оставшись вдвоем, долго сидели молча. Петр Михайлыч, от скуки, читал в старых газетах известия о приехавших и уехавших из столицы.

– Где Настенька? – спросил он наконец.

Капитан молча встал, вышел и тотчас же возвратился.

– У себя в спальне, – проговорил он.

– Что ж она там делает? – спросил Петр Михайлыч.

– Лежат вниз лицом в постельке, – отвечал капитан.

Петр Михайлыч покачал головой.

– Рассорились, видно. Эх, молодость, молодость! – проговорил он.

Капитан в продолжение всего вечера переминал язык, как бы намереваясь что-то такое сказать, и ничего, однако, не сказал.

VIII

Прошло два дня. Калинович не являлся к Годневым. Настенька все сидела в своей комнате и плакала. Палагея Евграфовна обратила, наконец, на это внимание.

– Что это барышня-то у нас все плачет? – сказала она Петру Михайлычу.

– Поссорились с молодцом-то, так и горюют оба: тот ходит мимо, как темная ночь, а эта плачет.

Палагея Евграфовна на это отвечала глубоким вздохом и своей обыкновенной поговоркой: «э-э-э, хе-хе-хе», что всегда означало с ее стороны некоторое неудовольствие.

На третий день Петру Михайлычу стало жаль Настеньки.

– А что, душа моя, – сказал он, – я схожу к Калиновичу. Что это за глупости он делает: дуется!

– Нет, папаша, я лучше ему напишу; я сейчас напишу и пошлю, – сказала Настенька. Она заметно обрадовалась намерению отца.

– Напиши. Кто вас разберет? У вас свои дела... – сказал старик с улыбкою.

Настенька ушла.

Капитан, бывший свидетелем этой сцены и все что-то хмурившийся, вдруг проговорил:

– Я полагаю, братец, девице неприлично переписываться с молодым мужчиной.

– Да, пожалуй, по-нашему с тобой, Флегонт Михайлыч, и так бы; да нынче, сударь, другие уж времена, другие нравы.

– Вы бы могли, кажется, остановить в этом Настасью Петровну: она, вероятно бы, вас послушалась.

– Что ж останавливать? Запрещать станешь, так потихоньку будет писать – еще хуже. Пускай переписываются; я в Настеньке уверен: в ней никогда никаких дурных наклонностей не замечал; а что полюбила молодца не из золотца, так не велика еще беда: так и быть должно.

– Огласка может быть, пустых слов по сторонам будут много говорить! – заметил капитан.

– А пусть себе говорят! Пустые речи пустяками и кончатся.

Настенька возвратилась.

– Флегонт Михайлыч, Настенька, находит неприличным, что ты переписываешься с Калиновичем; да и я, пожалуй, того же мнения... – сказал ей Петр Михайлыч.

– Что ж тут такого неприличного? Я пишу к нему не бог знает что такое, а звала только, чтоб пришел к нам. Дяденька во всем хочет видеть неприличие!

– Он видит это потому, что любит тебя и желает, чтоб все твои поступки были поступками благовоспитанной девицы, – возразил Петр Михайлыч.

– Странная любовь: видеть во всяких пустяках дурное!

– Это вот, милушка, по-вашему, по-нынешнему, пустяки; а в старину у наших предков девицы даже с открытым лицом не показывались мужчинам.

– Что ж из этого следует? – спросила Настенька.

– А то, что это выражало, – продолжал Петр Михайлыч внушительным тоном, – застенчивость, стыдливость – качества, которые украшают женщину гораздо больше, чем самые блестящие дарования.

Настенька хотела было что-то возразить отцу, но в это время пришел Калинович.

– А, Яков Васильич! – воскликнул Петр Михайлыч. – Наконец-то мы вас видим! А все эта шпилька, Настасья Петровна... Не верьте, сударь ей, не слушайте: вы можете и должны быть литератором.

Калинович, кажется, совершенно не понял слов Петра Михайлыча, но не показал виду. Настеньке он протянул по обыкновению руку; она подала ему свою как бы нехотя и потупилась.

– Принесли ли вы ваше сочинение? – спросил Петр Михайлыч.

– Со мной, – отвечал Калинович и вынул из портфеля знакомую уж нам тетрадь.

Петр Михайлыч, непременно требуя, чтоб все сели чинно у стола, заставил подвинуться капитана и усадил даже Палагею Евграфовну.

В продолжении чтения он очень часто восклицал:

– Хорошо, хорошо! Язык обработан; интерес растет... – и потом, когда Калинович приостановился, проговорил: – Погодите, Яков Васильич; я вот очень верю простому чувству капитана. Скажите нам, Флегонт Михайлыч, как вы находите: хорошо или нет?

– Я не могу судить-с! – отвечал тот.

– Пустое, сударь, уполномочиваем вас от лица автора сказать ваше мнение.

Капитан решительно отказывался.

– Заартачился! – произнес Петр Михайлыч и отнесся к дочери: – Ну, а ты как находишь?

– Хорошо, кажется... – отвечала та довольно сухо.

Она была очень грустна. Петр Михайлыч погрозил ей пальцем.

Калинович снова приступил к чтению, и когда кончил, старик сделал ему ручкой и повторил несколько раз:

– Vene, optime, optime!²⁸

– Неужели же эти господа редакторы находят недостойною напечатать вашу повесть? – сказала с усмешкою Настенька.

– Не знаю, – отвечал Калинович.

Между тем лицо Петра Михайлыча начинало принимать более и более серьезное выражение.

– Погодите, постойте! – начал он глубокомысленным тоном. – Не позволите ли вы мне, Яков Васильич, послать ваше сочинение к одному человеку в Петербург, теперь уж лицу важному, а прежде моему хорошему товарищу?

– Вряд ли будет успех! – возразил Калинович.

– Будет-с! – произнес решительно Петр Михайлыч. – Человек этот благорасположен ко мне и пользуется между литераторами большим авторитетом. Я говорю о Федоре Федорыче, – прибавил он, обращаясь к дочери.

– Он напечатает, – подтвердила Настенька.

– Еще бы! Он заставит напечатать: у него все эти господа редакторы и издатели по струнке ходят. Итак, согласны вы или нет?

– Извольте, – отвечал Калинович.

Петр Михайлыч остался очень этим доволен.

– Значит, идет! – проговорил он и тотчас же, достав пачку почтовой бумаги, выбрал из нее самый чистый, лучший лист и принялся, надев очки, писать на нем своим старинным, круглым и очень красивым почерком, по временам останавливаясь, потирая лоб и постоянно потея. Изготовленное им письмо было такого содержания:

«Ваше превосходительство,
милостивый государь,
Федор Федорович!

Хотя поток времени унес далеко счастливые дни моей юности, когда имел я счастье быть вашим однокашником, и фортуна поставила вас, достойно возвыся, на слишком высокую, сравнительно со мной, ступень мирских почестей, но, питая полную уверенность в неизменность вашу во всех благородных чувствованиях и зная вашу полезную, доказанную многими опытами любовь к успехам русской литературы, беру на себя смелость представить на ваш образованный суд сочинение в повествовательном роде одного молодого человека, воспитанника Московского университета и моего преемника по службе, который желал бы поместить свой

²⁸ Хорошо, прекрасно, прекрасно! (лат.).

труд в одном из петербургских периодических изданий. Хотя еще бессмертный Карамзин наш сказал, что Парнас – гора высокая и дорога к ней негладкая; но зачем же совершенно возбранять на него путь молодым людям? Слышал я, что редакторы журналов неохотно печатают произведения начинающих писателей; но милостивое участие и ручательство вашего превосходительства в достоинстве представляемого вашему покровительству произведения может уничтожить эту преграду. Будучи знаком с автором, смею уверить, что он исполнен образованного ума и благородных чувствований.

Прошу принять уверение в совершенном моем почтении и преданности, с коими имею честь пребыть

Вашего превосходительства
покорнейшим слугою
Петр Годнев».

Прочитав все это вслух, Петр Михайлыч спросил Калиновича, доволен ли он содержанием и изложением.

– Очень, – отвечал тот.

Старик самодовольно улыбнулся и послал Настеньку принести ему из кабинета сургуч и печать. Та пошла.

– Что ж им беспокоиться? Позвольте мне сходить, – проговорил Калинович и, войдя вслед за Настенькой в кабинет, хотел было взять ее за руку, но она отдернула.

– Палачи жертв своих не ласкают! – проговорила она и возвратилась к отцу.

Взяв рукопись, Петр Михайлыч первоначально перекрестился и, проговорив: «С богом, любезная, иди к невским берегам», – начал запаковывать ее с таким старанием, как бы отправлял какое-нибудь собственное сочинение, за которое ему предстояло получить по крайней мере миллион или бессмертие. В то время, как он занят был этим делом, капитан заметил, что Калинович наклонился к Настеньке и сказал ей что-то на ухо.

– Да, – отвечала она.

Во весь остальной вечер молодой зритель был необыкновенно весел: видимо, стараясь развеселить Настеньку, он беспрестанно заговаривал с ней и, наконец, за ужином вздумал было в тоне Петра Михайлыча подтрунить над капитаном.

– Мне сегодня, капитан, один человек сказывал, что вы на охоте убиваете дичь больше серебряной пулей, чем свинцовой: прикупаете иногда? – сказал он ему.

Капитан, сверх ожидания, вдруг побледнел, губы у него задрожали.

– Я человек бедный: мне не на что покупать, – сказал он удушливым голосом.

Калинович сконфузился.

– Что ж бедный! Честь охотника для человека дороже всего, – возразил он, усиливаясь продолжать шутку, – и я хотел только вас спросить, правда это или нет?

– Прошу вас оставить меня!.. Братец Петр Михайлыч могут, а вы еще молоды шутить надо мной, – отрезал капитан.

– Вы, дяденька, не понимаете, видно, что с вами шутят, – вмешалась Настенька.

– Нет-с, я все понимаю... – отвечал капитан.

– Воин! – произнес торжественным тоном Петр Михайлыч. – Успокой свой благородный рыцарский дух и изволь кушать!

– Я ем, братец. Извините меня, я им только хотел заметить...

– Нет, вы не только заметили, – возразил Калинович, взглянув на капитана исподлобья, – а вы на мою легкую шутку отвечали дерзостью. Постараюсь не ставить себя в другой раз в такое неприятное положение.

– Я вас сам об этом же прошу, – отвечал капитан и, уткнув глаза в тарелку, начал есть.

– Ну, будет, господа! Что это у вас за пикировка, терпеть этого не могу! – заключил Петр Михайлыч, и разговор тем кончился.

Калинович ушел домой первый. Капитан отправился за ним вскоре. При прощанье он еще раз извинился перед Петром Михайлычем.

– Извините, братец; я не мог этого снести.

– Ничего, ничего; помиритеесь только. В чем вам ссориться? Он человек хороший, а вы бесподобный!

Опять у капитана, кажется, вертелось что-то на языке, но и опять он ничего не сказал.

Вышед на улицу, Флегонт Михайлыч приостановился, подумал немного и потом не пошел по обыкновению домой, а поворотил в совершенно другую сторону. Ночь была осенняя, темная, хоть глаз, как говорится, выколи; порывистый ветер опахивал холодными волнами и воймя завывал где-то в соседней трубе. В целом городе хотя бы в одном доме промелькнул огонек: все уже мирно спали, и только в гостинном дворе протягивали изредка собаки.

Дошед до квартиры Калиновича, капитан остановился, посмотрел несколько времени на окно и пошел назад. Возвратившись к дому брата, он сел на ближайший тротуарный столбик, присек огня и закурил трубку. В это же самое время с заднего двора квартиры молодого зрителя промелькнула чья-то тень, спустилась к реке и начала пробираться, прячась за установленные по всему берегу березовые поленницы. Против сада Годневых тень эта пропала. Между тем на соборной колокольне сторож, в доказательство того, что не опит, пробил два часа. Испуганная этими звуками целая стая ворон слетела с церковной кровли и понеслась, каркая, в воздухе... Наконец внимание капитана обратили на себя две тени, из которых одна поворотила в переулок, а другая подошла к воротам Петра Михайлыча и начала что-то тут делать. В несколько прыжков очутился он у ворот и схватил тень за шиворот.

– Кто вы такие? Что вы здесь делаете? – спросил он.

Тень вместо ответа старалась вырваться, но тщетно. Она как будто бы попала в железные клещи: после мясника мещанина Ивана Павлова, носившего мучные кули в пятнадцать пудов, потом Лебедева, поднимавшего десять пудов, капитан был первый по силе в городе и разгибал подкову, как мягкий крендель.

– Кто вы такие? – повторил он.

Тень замахнулась было на него палкой, но Флегонт Михайлыч вырвал ее очень легко. Оказалось; что это была малярная кисть, перемаранная в дегте. Капитан понял, в чем дело.

– А! Так вы этим занимаетесь! – проговорил он и в минуту швырнул тень на землю, наступил ей коленом на грудь и начал мазать по лицу кистью.

– Караул! – прокричала тень.

– Молчать! – сказал капитан, подавив слегка ногою и продолжая свое занятие.

– Караул! Караул! – отозвалась другая тень из переулка, не подбегая, впрочем, на помощь.

В улице переполошились.

– Батько, встань! Караул на улице кричат! – будила мещанка спавшего мертвым сном мужа.

Тот открыл на минуту глаза.

– Убирайся! – сказал он и, выругавшись, повернулся к стене.

– Пес этакой! Караул кричат. Под окном найдут мертвое тело, тебя же в суд потянут! – продолжала баба, толкая мужа в бок, но, получив в ответ одно только сердитое мычанье, проговорила:

– Ох, господи! Страсти какие! Наше место свято! – а потом зевнула, перекрестилась и сама захрапела.

– Девка, девка! Марфушка, Катюшка! – кричала, приподнимаясь с своей постели, худая, как мертвец, с всклоченною седою головою, старая барышня-девица, переехавшая в город, чтоб ближе быть к церкви. – Подите, посмотрите, разбойницы, что за шум на улице?

Но ей никто не откликнулся.

– Ах, боже мой! Боже мой! Что это за сони: ничего не слышат! – бормотала старуха, слезая с постели, и, надев валенки, засветила у лампы свечку и отправилась в соседнюю комнату, где спали ее две прислужницы; но – увь! – постели их были пусты, и где они были – неизвестно, вероятно, в таком месте, где госпожа им строго запрещала бывать.

– Царица небесная! Владычица моя! На тебя только моя надежда, всеми оставлена: и родными и прислугой... Что это? Помилуйте, до чего безнравственность доходит: по ночам бегают... трубку курят... этта одна пьяная пришла... Содом и Гоморр! Содом и Гоморр!

Покуда старуха так говорила, одна из девок, вся запыхавшаяся, раскрасневшаяся, прибежала.

– Душегубка! Где была и пропадала – сказывай! – говорила госпожа, растопыривая перед ней руки.

– На улицу, барышня, бегала, на улице шумят.

– Врешь; где другая злодейка?

– Ту, матушка-барыня, ухватило, так на печке лежит, виновата...

– Врешь, врешь!.. Завтра же обеим косу обстригу и в деревню отправлю. Нет моих сил, нет моей возможности справляться с вами!

– Вся ваша воля, сударыня; мы никогда вам ни в чем не противны. Полноте-ка, извольте лучше лечь в постельку, я вам ножки поглажу, – сказала изворотливая горничная и, уложив старуху, до тех пор гладила ноги, что та заснула, а она опять куда-то отправилась.

У Гodneвых тоже услыхали. Первая выскочила на улицу, с фонарем в руках, неусыпная Палагея Евграфовна и осветила капитана с его противником, которым оказался Медиокритский. Узнав его, капитан еще больше озлился.

– А! Так это вы красите дегтем! – проговорил он и, что есть силы, начал молодого столоначальника тыкать кистью в нос и в губы.

Гнев и ожесточение Флегонта Михайлыча были совершенно законны: по уездным нравам, вымарать дегтем ворота в доме, где живет молодая женщина или молодая девушка, значит публично ее опозорить, и к этому средству обыкновенно прибегают между мещанами, а пожалуй, и купечеством оставленные любовники.

Капитан, вероятно, нескоро бы еще расстался с своей жертвой; но в эту минуту точно из-под земли вырос Калинович. Появление его, в свою очередь, удивило Флегонта Михайлыча, так что он выпустил из рук кисть и Медиокритского, который, воспользовавшись этим, вырвался и пустился бежать. Калинович тоже был встревожен. Палагея Евграфовна, сама не зная для чего, стала раскрывать ставни.

– Что такое случилось? Я еще не успел заснуть, вдруг слышу шум, оделся во что попало и побежал, – обратился к ней Калинович.

Она только развела руками.

– Ничего, – говорит, – не знаю.

– Что такое у вас с ним, Флегонт Михайлыч, вышло? – отнесся к капитану.

– Я братцу доложу-с, – отвечал тот и пошел в дом.

– Позвольте и мне, – говорил Калинович, следуя за ним.

Петра Михайлыча они застали тоже в большом испуге. Он стоял, расставивши руки, перед Настенькой, которая в том самом платье, в котором была вечером, лежала с закрытыми глазами на диване.

– Господа, подите сюда, бога ради, посмотрите, что у нас наделалось: Настя без чувств! – говорил он растерявшимся голосом.

Палагея Евграфовна бросилась распускать Настеньке платье, а Калинович схватил со стола графин с водой и начал ей примачивать голову. Петр Михайлыч дрожал и беспрестанно спрашивал:

– Что? Лучше ли? Лучше ли?

Настенька, наконец, открыла глаза, но, увидев около себя Калиновича, быстро отодвинулась и сначала захохотала, а потом зарыдала. Петр Михайлыч упал в кресло и схватил себя за голову.

– Помешалась! – проговорил он.

Но с Настенькой была только сильная истерика. Калинович стоял бледный и ничего не говорил. Капитан смотрел на все исподлобья. Одна Палагея Евграфовна не потеряла присутствия духа; она перевела Настеньку в спальню, уложила ее в постель, дала ей гофманских капель и пошла успокоить Петра Михайлыча.

– Ну, а вы-то что? Точно маленький! – говорила она.

Старик действительно был точно маленький.

– Только что я вздремнул, – говорил он, – вдруг слышу: «Караул, караул, режут!..» Мне показалось, что это было в саду, засветил свечку и пошел сюда; гляжу: Настенька идет с балкона... я ее окрикнул... она вдруг хлоп на диван.

Капитан в отрывистых фразах рассказал брату, как у него будто бы болела голова, как он хотел прогуляться и все прочее.

Петр Михайлыч опять вышел из себя.

– Ах он, мерзавец! Негодяй! Дочь мою осмелился позорить! Я сейчас пойду к городничему... к губернатору сейчас поеду... Я здесь честней всех... К городничему! – говорил старик и, как его ни отговаривали, начал торопливо одеваться.

– Я знаю, чьи это штуки: это все мерзавка исправница... это она его научила... Я завтра весь дом ее замажу дегтем: он любовник ее!.. Она безнравственная женщина и смеет опорочивать честную девушку! За это вступится бог!.. – заключил он и, порывисто распахнув двери, ушел.

– Ну вот, пошел тоже! Дела не наделяет, а только себя еще больше встревожит. Ходи после за ним, за больным! – брюзжала Палагея Евграфовна.

Калинович вызвался проводить Петра Михайлыча и едва успел его догнать у присутственных мест.

Придя в полицию, они сейчас же послали за городничим, и старый служака незамедля явился в мундире и при шпаге. По требованию дворянства, он всегда являлся в полной форме.

Петр Михайлыч от усталости и волнения не в состоянии был говорить, но за него очень подробно и последовательно рассказал Калинович. Старикашка городничий тоже вышел из себя, застучал своей клюкой и закричал:

– Го, го, го! Какие они штуки стали отпускать! В каземат его, стрикулиста! – Потом свистнул и вскрикнул еще громче: – Борзой!.. Сюда!

При этом возгласе в арестантской кубарем слетел с полатей дежурный десятский, бездомный и бессемейный мещаниншка, служивший по найму при полиции и продававшийся несколько раз в солдаты, но не попавший единственно по недостатку всех зубов в верхней челюсти, которые вышиб, свалившись еще в детстве с крыши. Представ пред начальником, Борзой вытянулся.

– Поди сейчас, отыщи мне рыжего Медиокритского в огне... в воде... в земле... где хочешь, и представь его, каналью, сюда живого или мертвого! Или знаешь вот эту клюку! – проговорил городничий и грозно поднял жезл свой.

– Слушаю, ваше благородие! – отвечал Борзой, повернулся и чрез минуту летел вприпрыжку по улице с быстротой истинно гончей собаки.

– В каземат его, каналью, засажу! – говорил градоначальник, расхаживая с своей клюкой по присутственной камере.

– В каземат! – подтвердил Петр Михайлыч.

– Если б не я, сударь, – продолжал городничий, – эти мещанишки и приказные разбойничали бы по ночам.

– Именно, именно, – подтверждал Петр Михайлыч. – Я человек не злой, несчастья никому не желаю, а эдаких людей жалеть нечего.

– Не жалею я их, сударь, – отвечал городничий, делая строгую мину, – не люблю я с ними шутики шутить. Сам губернатор старика хромого городничего знает.

– Так и надо, так и надо! Я и сам, когда был смотрителем, это у меня кто порезвится, пошалит – ничего; а буяну и грубияну не спускал, – прихвастнул Петр Михайлыч.

Калинович только улыбался, слушая, как петушились два старика, из которых про Петра Михайлыча мы знаем, какого он был строгого характера; что же касается городничего, то все его полицейские меры ограничивались криком и клюкой, которою зато он действовал отлично, так что этой клюки боялись вряд ли не больше, чем его самого, как будто бы вся сила была в ней.

Медиокритского привели. На лице его, как он, видно, ни умывался, все еще оставались ясные следы дегтя. Старик городничий сел в грозную позу против зеркала.

– Где вы были сегодняшнюю ночь? – спросил он.

– Дома-с. Где ж мне быть больше? – отвечал довольно дерзко Медиокритский.

– Как? Вы были дома? Врете! Зачем же вы были в Дворянской улице, у ворот господина Годнева?

– Я там не был.

– Как не был? Еще запирается, стрикулист! Говорить у меня правду, лжи не люблю – знаешь! – воскликнул городничий, стукнув клюкой.

– Вы не извольте клюкой вашей стучать и кричать на меня: я чиновник, – проговорил Медиокритский.

Петр Михайлыч только пожал плечами, городничий откинулся на задок кресел.

– Ась? Как вы посудите нашу полицейскую службу? Что б я с ним по-нашему, по-военному, должен был сделать? – проговорил он и присовокупил более спокойным и официальным тоном: – Отвечайте на мой вопрос!

– Нет-с, я не буду вам отвечать, – возразил Медиокритский, – потому что я не знаю, за что именно взят: меня схватили, как вора какого-нибудь или разбойника; и так как я состою по ведомству земского суда, так желаю иметь депутата, а вам я отвечать не стану. Не угодно ли вам послать за моим начальником господином исправником.

– Что ж вы меня подозреваете, что ли? Душой, что ли, покривлю?... В казamat тебя, стрикулиста! – воскликнул опять вышедший из себя городничий.

– Я ничего не знаю, а требую только законного, и вы на меня не извольте кричать! – повторил с прежней дерзостью Медиокритский.

Старик встал и начал ходить по комнате, и если б, кажется, он был вдвоем с своим подсудимым, так тому бы не уйти от его клюки.

– Я полагаю, что за господином исправником можно послать, если этого желает господин Медиокритский, – вмешался Калинович.

– Извольте, – отвечал городничий и тотчас свистнул.

Предстал опять Борзой.

– Поди сейчас к господину исправнику, скажи, чтоб его разбудили, и попроси сюда по очень важному делу.

Тот отправился.

– Господину Медиокритскому, я думаю, можно выйти? – присовокупил Калинович.

– Может-с! – отвечал городничий. – Извольте идти в эту комнату, – прибавил он строго Медиокритскому, который с насмешливой улыбкой вышел.

Калинович после того отвел обоих стариков к окну и весьма основательно объяснил, что следствием вряд ли они докажут что-нибудь, а между тем Петру Михайлычу, конечно, будет неприятно, что имя его самого и, наконец, дочери будет замешано в следственном деле.

– Правда, правда... – подтвердил городничий.

– Господи боже мой! Во всю жизнь не имел никаких дел, и до чего я дожил! – воскликнул Петр Михайлыч.

– И потому, я полагаю, так как теперь придет господин исправник, – продолжал Калинович, – то господину городничему вместе с ним донести начальнику губернии с подробностью о поступке господина Медиокритского, а тот без всякого следствия распорядится гораздо лучше.

– Пожалуй, что так; а я его все-таки в казамате выдержу, – сказал городничий.

– Хорошо, – подтвердил Петр Михайлыч, – суди меня бог; а я ему не прощу; сам буду писать к губернатору; он поймет чувства отца. Обидь, оскорби он меня, я бы только посмеялся; но он тронул честь моей дочери – никогда я ему этого не прощу! – прибавил старик, ударив себя в грудь.

Исправник пришел с испуганным лицом. Мы отчасти его уж знаем, и я только прибавлю, что это был смирнейший человек в мире, страшный трус по службе и еще больше того боявшийся своей жены. Ему рассказали, в чем дело.

– Скажите, пожалуйста! – проговорил он, еще более испугавшись.

– Мы сейчас с вами рапорт напишем на него губернатору, – сказал городничий.

– Напишем-с, – отвечал исправник, – как бы только и нам чего не было!

Калинович объяснил, что им никаким образом ничего не может быть, а что, напротив, если они скроют, в таком случае будут отвечать.

– Конечно, будем, – согласился и с этим исправник.

– Непременно, – подтвердил Калинович и тотчас написал своей рукой, прямо набело, рапорт губернатору в возможно резких выражениях, к которому городничий и исправник подписались.

Медиокритский чрез дощаную перегородку подслушал весь разговор и, видя, что дело его принимает очень дурной оборот, бросился к исправнику, когда тот выходил.

– Николай Егорыч, что ж вы меня выдали? Я служил, служил вам... Если уж я так должен терпеть, так я лучше готов прощения у них просить.

Исправник воротился. Медиокритский вошел за ним.

– Прощения хочет просить, – проговорил исправник.

– Ваше высокоблагородие... – отнесся Медиокритский сначала к городничему и стал просить о помиловании.

– Нет, нет-с! – отвечал тот.

– Петр Михайлыч! – обратился он с той же просьбой к Годневу. – Не погубите навеки молодого человека. Царь небесный заплатит вам за вашу доброту.

Проговоря эти слова, Медиокритский стал пред Петром Михайлычем на колени. Старик отвернулся.

– Ваше высокородие, окажите милосердие, – молил он, переползая на коленях к городничему.

Тот начал щипать усы.

– Простите его, господа! – сказал исправник, и, вероятно, старики сдались бы, но вмешался Калинович.

– Великодушие, Петр Михайлыч, тут, кажется, неуместно, – сказал он, – а вам тем более, как начальнику города, нельзя скрывать такие поступки, – прибавил он городничему.

– Вы хотели, сударь, оскорбить дочь мою – не прощу я вам этого! – произнес Петр Михайлыч и пошел.

– И я тоже не прощу!.. От казамата освобождаю, а этого не прощу, – присовокупил градоначальник и заковылял вслед за Петром Михайлычем.

Нужно ли говорить, какая туча сплетен разразилась после того над головой моей бедной Настеньки! Уездные барыни, из которых некоторые весьма секретно и благоразумно вели куры

с своими лакеями, а другие с дьячками и семинаристами, – барыни эти, будто бы нравственно оскорбленные, защекотали как сороки, и между всеми ними, конечно, выдавалась исправница, которая с каким-то остервенением начала ездить по всему городу и рассказывать, что Медиокритский имел право это сделать, потому что пользовался большим вниманием этой госпожи Годневой, и что потом она сама своими глазами видела, как эта безнравственная девчонка сидела, обнявшись с молодым смотрителем, у окна. Приказничиха, с своей стороны, тоже кое-что порассказала. Она очень многим по секрету сообщила, что Настенька приходила к Калиновичу одна-одинехонька, сидела у него на кровати, и чем они там занимались – почти сомнения никакого нет.

– Как это нынешние девушки нисколько себя не берегут, отцы мои родные! Если уж не бога, так мирского бы стыда побоялись! – восклицала она, пожимая плечами.

Ко всем этим слухам Медиокритский вдруг, по распоряжению губернатора, был исключен из службы. Все чиновничье общество еще более заступилось за него, инстинктивно понимая, что он им родной, плоть от плоти ихней, а Годневы и Калинович далеко от них ушли.

IX

Между тем наступил уже великий пост, в продолжение которого многое изменилось в образе жизни у Гodneвых: еще в так называемое прощальное воскресенье, на масленице, все у них в доме ходили и прощались друг перед другом. В чистый понедельник Петр Михайлыч, сходяв очень рано в баню, надевал обыкновенно самое старое свое платье, бриться начал гораздо реже и переставал читать романы и журналы, а занимался более чтением ученых сочинений и проповедей. На первой неделе у них, по заведенному порядку, начали говеть: ходили, разумеется, за каждую службу, ели постное, и то больше сухоедением. Петр Михайлыч даже чай пил не с сахаром, а с медом, и в четверг перед последним ефимоном²⁹, чопорно одетый в серый демикотоновый сюртук и старомодную с брыжами манишку, он сидел в своем кабинете и ожидал благовеста. Палагея Евграфовна умывалась и причесывалась, чтоб идти в церковь. Настенька помещалась с Калиновичем в гостиной и раскладывала гранпасьянс. Она в этот год отказалась от говенья. На двор прошел почтальон. Петр Михайлыч увидел его первый.

– Это откуда ко мне послание? – проговорил он.

Ему подали толстый пакет и посылку. Штемпель был петербургский. Старик испугался.

– Не опять ли вспять возвращают? – проговорил он и, надев торопливо очки, начал читать письмо. Лицо его просветлело с первых же строк. Дочитав, он перекрестился и закричал:

– Яков Васильич, Настенька! Подите сюда скорее – ура!

– Нет, папенька, мы здесь заняты, – отозвалась Настенька.

– Ура! Идите сюда ко мне скорее, бестолковые! – продолжал кричать Петр Михайлыч.

Настенька и Калинович вошли.

– Что вы кричите, папенька? – спросила Настенька.

– А вот что кричу: видите вот это письмо, эту книжку и вот эту газету? За все это Яков Васильич должен мне шампанского купить – и знать больше ничего не хочу.

– От кого же это письмо? – проговорила Настенька и хотела было взять со стола пакет, но Петр Михайлыч не дал.

– Та, та, та! Очень любопытна! Много будешь знать, скоро состареешься, – сказал он и, положив письмо, книгу и газету в боковой карман, плотно застегнул сюртук.

– Это, верно, из Петербурга что-нибудь, – сказал Калинович нетвердым голосом.

– Ничего покуда не знаю-с. Выставляйте наперед шампанское, а там увидим, что будет, – отвечал старик комическим тоном.

– Ну, что, папаша? Да скажите поскорее, это скучно, – сказала Настенька.

– Я, пожалуй, готов хоть дюжину купить, только, ради бога, не пытайте нашего терпения, – сказал начинавший уже бледнеть Калинович.

Петр Михайлыч рассмеялся.

– И стоит, сударь! – проговорил он, а потом, вынув на щегольской, гладкой и лощеной бумаге письмецо, начал его читать с расстановкой:

«Любезный Петр Михайлыч!

Спешу отвечать на ваше послание и радуюсь, что мог исполнить просимую вами небольшую услугу от меня. Прилагаю книжку журнала, в которой напечатана повесть вашего протеже, а равно и газетный листок, случайно попавшийся мне в английском клубе, с лестным отзывом о сочинении его. А затем, поручая, да хранит вас милость божия, пребываю с душевным моим расположением» – такой-то.

Эти короткие и, видимо, небрежно и свысока написанные строки показались Гodneвым бог знает какого благодушия исполненной вестью.

²⁹ Ефимон – великопостная церковная служба.

– Каково письмецо-с и каков этот человек, мой почтенный Федор Федорыч? – воскликнул Петр Михайлыч, кончив чтение.

– Чудный, должно быть, он человек! – подхватила Настенька.

– Чудеснейший, – повторил Петр Михайлыч, – сердца благородного, ума возвышенного – чудеснейший!

– Что там в газете пишут? – сказал Калинович, берясь за голову, как бы не слыхавший ничего, что вокруг него говорилось.

– А вот сейчас, – отвечал Петр Михайлыч и, развернув газету, начал читать: – «Фельетон; литературные новости». Ну, что такое литературные новости? Посмотрим, – проговорил он, продолжая:

– «Давно мы не приступали к нашему фельетону с таким удовольствием, как делаем это в настоящем случае, и удовольствие это, признаемся, в нас возбуждено не переводными стихотворениями с венгерского, в которых, между прочим, попадаются рифмы вроде «фимиам с вам»; не повестью госпожи Д..., которая хотя и принадлежит легкому дамскому перу, но отличается такою тяжеловесностью, что мы еще не встречали ни одного человека, у которого достало бы силы дочитать ее до конца; наконец, не учеными изысканиями г. Сладкопевцова «О римских когортах», от которых чувствовать удовольствие и оценить их по достоинству предоставляем специалистам; нас же, напротив, неприятно поразили в них опечатки, попадающиеся на каждой странице и дающие нам право обвинить автора за небрежность в издании своих сочинений (в незнании грамматики мы не смеем его подозревать, хотя имеем на то некоторое право)...»

– Что же это такое? – сказал Петр Михайлыч, останавливаясь читать. – Тут покуда одна перебранка... Экой народ эти господа фельетонисты!

– Продолжайте, папаша; верно дальше есть что-нибудь, – перебила с нетерпением Настенька.

Петр Михайлыч продолжал:

– «Но чем же возбуждено наше удовольствие? – спросит, наконец, читатель. Отвечаем: удовольствие это доставило нам чтение повести г. Калиновича, имя которого, сколько помнится, в первый раз еще встречаем мы в печати; тем приятнее для нас признать в нем умного, образованного и талантливого беллетриста. От души желаем не ошибиться в наших ожиданиях, возлагаемых на г. Калиновича, а ему писать больше, и полнее развивать те благородные мысли, которых, помимо полного драматизма сюжета, так много разбросано в его первом, но уже замечательном произведении».

При чтении последних строк Калинович беспрестанно менялся в лице: видно было, что похвалы эти ему были очень приятны, хоть он и старался это скрыть.

– Ах, как я рада! – сказала Настенька и закрыла глаза руками.

– Славно, славно! – говорил Петр Михайлыч. – И вы, Яков Васильич, еще жаловались на вашу судьбу! Вот как она вас потешила и сразу поставила в ряду лучших наших литераторов.

– Кто ж этого мог ожидать? – отвечал Калинович.

– И я не думала, – сказала Настенька.

– А я так думал и ожидал, – подхватил Петр Михайлыч. – Стало быть, у меня, у старого словесника, есть тоже кой-какое пониманье. Я как прослушал, так и вижу, что хорошо!

– И я, папаша, видела, что хорошо! – возразила Настенька. – Но чтоб так, вдруг, всем понравилось... Я думаю, ни один литератор не начинал с таким успехом.

– Немногие, – отозвался Калинович, продолжая ходить взад и вперед по комнате и стараясь смигнуть навернувшиеся на глазах слезы.

Петр Михайлыч заметил это и, показывая на него глазами, шепнул Настеньке:

– За душу, за сердце, значит, тронуло!

– Однако позвольте взглянуть, как там напечатано, – сказал Калинович и, взяв книжку журнала, хотел было читать, но остановился... – Нет, не могу, – проговорил он, опять берясь за голову, – какое сильное, однако, чувство, видеть свое произведение в печати... читать даже не могу!

– Ничего, сударь, ничего; и не стыдитесь этого: это слезы приятные; а я вот что теперь думаю: заплатят они вам или для первого раза и так сойдет?

– Конечно, заплатят, – отвечал Калинович, – по пятидесяти рублей серебром они обыкновенно платят за лист: это я наверное знаю.

– По пятидесяти, – повторил Петр Михайлыч и, сосчитав число листов, обратился к дочери: – Ну-ка, Настенька, девять с половиной на пятьдесят – сколько будет?

– Четыреста семьдесят пять, – отвечала та.

– Недурно! Есть на что выпить, – подхватил Петр Михайлыч.

– А я и забыл выпить, – сказал Калинович, – кого бы послать за шампанским?

– Нет, погодите, – перебил Петр Михайлыч, – давеча я пошутил. Прежде отправимтесь-ка за ефимоны в монастырь, да отслужите вы, Яков Васильич, благодарственный молебен здешнему угоднику.

– Ах, да, сделайте это, Яков Васильич! – подхватила Настенька. – Я большую веру имею к здешнему угоднику.

– Я очень рад, – отвечал Калинович.

– Непременно, непременно! – подтвердил Петр Михайлыч. – Здесь ни один купец не уедет и не приедет с ярмарки без того, чтоб не поклониться мощам. Я, признаться, как еще отправлял ваше сочинение, так сделал мысленно это обещание.

В это время вошла Палагея Евграфовна совсем одетая в свой шелковый, опушенный котиком капор, драдедамовый салоп и очень чем-то недовольная.

– Что это, Петр Михайлыч, приказали идти вместе, а тут сами сидите? Давным-давно благовестят, – сказала она.

– Знаю, сударыня, знаю, – ничего: мы идем все в монастырь; ступай и ты с нами. А ты, Настенька, пойдешь одевайся, – говорил старик, проворно надевая бекеш и вооружаясь тростью.

– Ну, вот, в монастырь выдумали: еще дальше!.. Не все равно молиться?.. Придем к кресту!.. – бормотала экономка и пошла.

– Идем, идем, – говорил Петр Михайлыч, идя вслед за ней и в то же время восклицая: – Скорей, Настасья Петровна! Скорей! Вечно вас дожидайся!

Настенька, наконец, вышла и вместе с Калиновичем нагнала отца и экономку на половине пути.

Монастырь, куда они шли, был старинный и небогатый. Со всех сторон его окружала высокая, толстая каменная стена, с следами бойниц и с четырьмя башнями по углам. Огромные железные ворота, с изображением из жести двух архангелов, были почти всегда заперты и входили в небольшую калиточку. Два храма, один с колокольней, а другой только церковь, стоявшие посредине монастырской площадки, были тоже старинной архитектуры. К стене примыкали небольшие и довольно ветхие кельи для братии и другие прислуги.

Когда Петр Михайлыч с своей семьей подошел к монастырю, там еще продолжался унылый и медленный великопостный звон в небольшой и несколько дребезжащий колокол. Служили в теплой церкви, о чем можно было догадаться по сидевшему около ее входа слепому старику-монаху, в круглой скуфейке и худеньком черном нанковом подряснике, подпоясанном ремнем. Старик этот, слепой от рождения, несколько уже лет служил чем-то вроде монастырского привратника. В тридцать градусов мороза и в июльские жары он всегда в одном и том же, ничем не подбитом нанковом подряснике и в худых, на босу ногу, сапогах, сидел около столика, на котором стояла небольшая икона угодника и покрытое с крестом пеленою блюдо для сбора подаяния в монастырь. Когда подошли наши богомолцы, слепой тотчас же услышал и встал.

– Святому угоднику и чудотворцу, – проговорил он, кланяясь в пояс.

Все помолились. Петр Михайлыч положил на блюдо гривенник. Калинович сделал то же. Церковную паперть, куда они вошли, составлял огромный коридор, по которому шаги их отдались в высоких сводах чутким эхом. Коридор этот, как и во многих старинных церквях, был почти темный, но с живописью на стенах из ветхого завета. Петр Михайлыч долго осиливал всплошь железную церковную дверь, которая, наконец, скрипя, тяжело распахнулась. Церковь была довольно большая; но величина ее казалась решительно громадною от слабого освещения: горели только лампадки да тонкие восковые свечи перед местными иконами, которые, вследствие этого, как бы выступали из иконостаса, и тем поразительнее было впечатление, что они ничего не говорили об искусстве, а напоминали мощи.

Молящихся было немного: две-три старухи-мещанки, из которых две лежали вниз лицом; мужичок в сером кафтане, который стоял на коленях перед иконой и, устремив на нее глаза, бормотал какую-то молитву, покачивая по временам своей белокурой включенной головой. Несколько стариков-монахов помещалось на обычных своих местах у задней стены под хорами. Служил сам настоятель, седой, как лунь, и по крайней мере лет восьмидесяти, но еще сильный, проворный и с блестящими, проницательными глазами. По всему околотку он был известен как религиозный сподвижник, несколько суровый в обращении и строгий к братии; по всем городским церквям служба обыкновенно уж кончалась, а у него только была еще в половине. Ефимоны у него продолжались часа четыре. Проворно выходил он из алтаря, очень долго молился перед царскими вратами и потом уже начинал произносить крестопоклонные изречения: «Господи владыко живота моего!» Положив три поклона, он еще долее молился и вслед за тем, как бы в духовном восторге, громко воскликнув: «Господи владыко живота моего!», клал четвертый земной поклон и, порывисто кланяясь молящимся, уходил в алтарь. Стоявший посредине церкви молодой послушник истово и внятно начинал читать каноны. В углублении правого клироса стояло человек пять певчих монахов. В своих черных клобуках и широких рясах, освещенные сумеречным дневным светом, падавшим на них из узкого, затемненного железною решеткою окна, они были в каком-то полумраке и пели складными, тихими басами, как бы напоминая собой первобытных христиан, таинственно совершавших свое молебствие в мрачных пещерах. Все это неяркое, но полное таинственного смысла благолепие храма охватило моих богомольцев: Петр Михайлыч стал впереди всех, и в лице его отразилось какое-то тихое спокойствие. Палагея Евграфовна ушла в угол за левый клирос: она не любила молиться на людских глазах. Настенька поместилась рядом с ней и, став на колени, начала горячо молиться, взглядывая по временам на задумчиво стоявшего у правого клироса Калиновича.

По окончании ефимонов Петр Михайлыч подошел к настоятелю.

– Молебен, отец игумен, желаем отслужить угоднику, – сказал он.

– Хорошо, – отвечал лаконически настоятель. Впрочем, ответ этот был еще довольно благосклонен: другим он только кивал головой; Петра Михайлыча он любил и бывал даже иногда в гостях у него.

– Молебен! – сказал он стоявшим на клиросе монахам, и все пошли в небольшой церковный придел, где покоились мощи угодника. Началась служба. В то время как монахи, после довольно тихого пения, запели вдруг громко: «Тебе, бога, хвалим; тебе, господи, исповедуем!» – Настенька поклонилась в землю и вдруг разрыдалась почти до истерики, так что Палагея Евграфовна принуждена была подойти и поднять ее. После молебна начали подходить к кресту и благословению настоятеля. Петр Михайлыч подошел первый.

– Здоровы ли вы? – спросил отрывисто, но благосклонно настоятель.

– Живу, святой отец, – отвечал Петр Михайлыч, – а вы вот благословите этого молодого человека; это наш новый русский литератор, – присовокупил он, указывая на Калиновича.

Настоятель благословил того и потом, посмотрев на него своими пронизательными глазами, вдруг спросил:

– Который вам год?

– Двадцать восьмой, – отвечал, несколько удивленный этим вопросом, Калинович.

– Как вы старообразны, – проговорил настоятель и обратился к Настеньке, посмотрел на нее тоже довольно пристально и спросил:

– Вы о чем расплакались?

– От полноты чувств, отец игумен, – отвечала Настенька.

– На молитве плакать не о чем, кроме разве оплакивать свои грехи и проступки вольные и невольные, – проговорил настоятель, благословляя Палагею Евграфовну и снимая облачение.

Настенька покраснела.

– Однако прощайте; ступайте домой; нам пора запираяться, – заключил он и проворно ушел, последуемый монахами.

Когда богомолцы наши вышли из монастыря, был уже час девятый. Калинович, пользуясь тем, что скользко и темно было идти, подал Настеньке руку, и они тотчас же стали отставать от Петра Михайлыча, который таким образом ушел с Палагеею Евграфовной вперед.

– Ты, мать-командирша, ничего не знаешь, а у нас сегодня радость, – заговорил он.

– Какая радость? – спросила экономка.

– А такая, что Яков Васильич наш напечатал свое сочинение, за которое заплатят ему пятьсот рублей серебром.

На пятьсот рублей серебром Петр Михайлыч нарочно сделал особенное ударение, чтоб поразить Палагею Евграфовну; но она только вздохнула и проговорила вполголоса:

– Свой-то дела он, известно, что делает, наши-то только оставляет.

Петр Михайлыч призадумался немного.

– Был у нас с ним, сударыня, об этом разговор, – начал он, – хоть не прямой, а косвенный; я, признаться, нарочно его и завел... брат меня все смущает... Там у них это неудовольствие с Калиновичем вышло, ну да и шуры-муры ихние замечает, так беспокоится...

– Какой же разговор у вас был? – спросила Палагея Евграфовна.

– А разговор наш был... – отвечал Петр Михайлыч, – рассуждали мы, что лучше молодым людям: жениться или не жениться? Он и говорит: «Жениться на расчете подло, а жениться бедняку на бедной девушке – глупо!»

– Гм! – произнесла Палагея Евграфовна.

– Как же, говорю, в этом случае поступать? – продолжал старик, разводя руками. – «Богатый, говорит, может поступать, как хочет, а бедный должен себя прежде обеспечить, чтоб, женившись, было чем жить...» И понимай, значит, как знаешь: клади в мешок, дома разберешь!

– Что тут понимать? Понимать-то тут нечего! – возразила с досадою Палагея Евграфовна.

– А понимать, – возразил, в свою очередь, Петр Михайлыч, – можно так, что он не приступал ни к чему решительному, потому что у Настеньки мало, а у него и меньше того: ну а теперь, слава богу, кроме платы за сочинения, литераторам и места дают не по-нашему: может быть, этим смотрителем поддержат года два, да вдруг и хватят в директоры: значит, и будет чем семью кормить.

– Чтой-то кормить! – сказала Палагея Евграфовна с насмешкою. – Хоть бы и без этого, прокормиться было бы чем... Не бесприданницу какую-нибудь взял бы... Много ли, мало ли, а все больше его. Зарылся уж очень... прокормиться?.. Экому лбу хлеба не добыть!

– Оттого, что лоб-то у него хорош, он и хочет сделать осмотрительно, и я это в нем уважаю, – проговорил Петр Михайлыч. – А что насчет опасений брата Флегонта, – продолжал он в раздумье и как бы утешая сам себя, – чтоб после худого чего не вышло – это вздор! Калинович человек честный и в Настеньку влюблен.

– Влюблен-то влюблен, – подтвердила Палагея Евграфовна.

Нечто вроде этого, кажется, подумал и въезжавший в это время с кляузного следствия в город толстый становой пристав, старый холостяк и давно известный своей заклятой ненавистью к женскому полу, доходившее до того, что он бранью встречал и бранью провожал даже молодых солдаток, приходивших в стан являть свои паспорта. Поравнявшись с молодыми людьми, он несколько времени смотрел на них и, как бы умилившись своим суровым сердцем, усмехнулся, потер себе нос и вообще придал своему лицу плутоватое выражение, которым как бы говорил: «Езжали-ста и мы на этом коне».

– Ты счастлив сегодня? – проговорила Настенька, когда они уже стали подходить к дому.

– Да, – отвечал Калинович, – и этим счастьем я исключительно обязан вашему семейству.

– Отчего же нам? Я думаю, своему таланту, – заметила Настенька.

– Что талант?.. В вашей семье, – продолжал Калинович, – я нашел и родственный прием, и любовь, и, наконец, покровительство в самом важном для меня предприятии. Мне долго не расплатиться с вами!

– Люби меня – вот твоя плата.

– Разлюбить тебя я не могу и не должен, – сказал Калинович, сделав ударение на последнем слове.

– Не должен! – повторила Настенька и задумалась. – Но если это когда-нибудь случится, я этого не перенесу, умру... – прибавила она, и слезы в три ручья потекли по ее щекам.

– О чем же ты плачешь? Этого никогда не может случиться, или...

– Что или?..

– Или я должен переродиться нравственно, – отвечал Калинович.

– Я верю тебе! – проговорила Настенька, крепко сжимая ему руку.

На некоторое время они замолчали.

– Дело в том, – начал Калинович, нахмутив брови, – мне кажется, что твои родные как будто начинают меня не любить и смотреть на меня какими-то подозрительными глазами.

– Да кто же родные? Капитан? – спросила Настенька.

– Я уж не говорю о капитане. Он ненавидит меня давно, и за что – не знаю; но даже отец твой... он скрывает, но я постоянно замечаю в лице его неудовольствие, особенно когда я остаюсь с тобой вдвоем, и, наконец, эта Палагея Евграфовна – и та на меня хмурится.

Настенька вздохнула.

– Они догадываются о наших отношениях, – проговорила она.

– Из чего ж они могут догадываться? Я в отношении тебя, по наружности, только вежлив – и больше ничего.

– Как из чего? Из всего: ты еще как-то осторожнее, но я ужасно как тоскую, когда тебя нет.

– Зачем же ты это делаешь?

– Ах, какой ты странный! Зачем? Что ж мне делать, если я не могу скрыть? Да и что скрывать? Все уж знают. Дядя на днях говорил отцу, чтоб не принимать тебя.

Калинович еще более нахмурился.

– Капитан этот такая дрянь, что ужас! – проговорил он.

– Нет, он очень добрый: он не все еще говорит, что знает, – возразила Настенька и вздохнула. – Но что досаднее мне всего, – продолжала она, – это его предубеждение против тебя: он как будто бы уверен, что ты меня обманешь.

– Как он хорошо меня знает! – проговорил Калинович с усмешкою.

– Он решительно тебя не понимает; да как же можно от него этого и требовать? – отвечала Настенька.

В такого рода разговорах все возвратились домой. Капитан уж их дожидался.

– Вы, я слышал, братец, в монастыре изволили молиться? – спросил он Петра Михайлыча.

– Да, сударь капитан, в монастыре были, – отвечал тот. – Яков Васильич благодарственный молебен ходил служить угоднику. Его сочинение напечатано с большим успехом, и мы сегодня как бы вроде того: победу торжествуем! Как бы этак по-вашему, по-военному, крепость взяли: у вас слава – и у нас слава!

– Да-с... конечно... – подтвердил капитан.

– Однако, Петр Михайлыч, я непременно желаю выпить шампанского, – сказал Калинович.

– Шампанского-то?.. – проговорил старик. – Грех бы, сударь, разве для вашей радости и говенье нарушить?

– Я думаю, об этом всего лучше обратиться к вам, почтеннейшая Палагея Евграфовна, – отнесся Калинович к экономке, приготовлявшей на столе чайный прибор.

– К ней, к ней! – подтвердил Петр Михайлыч. – Добудь нам, командирша, бутылочку шампанского.

Калинович подал Палагее Евграфовне деньги и при этом случае пожал ей с улыбкою руку. Он никогда еще не был столько любезен с старою девицею, так что она даже покраснела.

– Да уж и об ужине кстати похлопочи, знаешь, этак кое-чего копчененького, – присовокупил Петр Михайлыч.

– Найдем что-нибудь, – отвечала Палагея Евграфовна и пошла хлопотать.

Сначала она нацарапала на лоскутке бумажки страшными каракульками: «путыку шимпанзскова», а потом принялась будить спавшего на полатах Терку, которого Петр Михайлыч, по выключке его из службы, взял к себе почти Христа ради, потому что инвалид ничего не делал, лежал упорно или на печи, или на полатах и воды даже не хотел подсобить принести кухарке, как та ни бранила его. В этот раз Палагее Евграфовне тоже немало стоило труда растолкать Терку, а потом втолковать ему, в чем дело.

– Да ведь заперто, – отозвался инвалид.

– Руки-то есть, старый хрен: стукнись. Пошел, пошел скорей! Выспишься еще; ночь-то длинна, – говорила Палагея Евграфовна.

– Ну да, выписься, – пробормотал Терка и долго еще обувался и напяливал свой вицмундиришко.

– Пес этакой! Пойдешь ты али нет? – воскликнула, наконец, Палагея Евграфовна.

– Ну! – отвечал на это Терка и, захватив крепко в руку записочку, поплелся, а Палагея Евграфовна велела кухарке разложить таган и сама принялась стряпать.

Терка чрез полчаса возвратился с одной только запиской в руках.

– Нет, не достучишься! – сказал он и преспокойно разделся и влез на полати.

Палагея Евграфовна только плюнула.

– Вот старого дармоеда держат ведь тоже! – проговорила она и, делать нечего, накинувшись своим старым салопом, побежала сама и достучалась. Часам к одиннадцати был готов ужин. Вместо кое-чего оказалось к нему приготовленными, маринованная щука, свежепросоленная белужина под белым соусом, сушеный лещ, поджаренные копченые селетки, и все это было расставлено в чрезвычайном порядке на большом круглом столе.

– Палагея Евграфовна приготовила нам решительно римский ужин, – сказал Калинович, желая еще раз сказать любезность экономке; и когда стали садиться за стол, непременно потребовал, чтоб она тоже села и не вскакивала. Вообще он был в очень хорошем расположении духа.

Перед лещом Петр Михайлыч, налив всем бокалы и произнеся торжественным тоном: «За здоровье нашего молодого, даровитого автора!» – выпил залпом. Настенька, сидевшая рядом с Калиновичем, взяла его руку, пожала и выпила тоже целый бокал. Капитан отпил половину, Палагея Евграфовна только прихлебнула. Петр Михайлыч заметил это и заставил

их докончить. Капитан дохлебнул молча и разом; Палагея Евграфовна с расстановкой, говоря: «Ой будет, голова заболит», но допила.

– Позвольте и мне предложить мой тост, – сказал Калинович, вставая и наливая снова всем шампанского. – Здоровье одного из лучших знатоков русской литературы и первого моего литературного покровителя, – продолжал он, протягивая бокал к Петру Михайлычу, и они чокнулись. – Здоровье моего маленького друга! – обратился Калинович к Настеньке и поцеловал у ней руку.

Он в шутку часто при всех называл Настеньку своим маленьким другом.

– Здоровье храброго капитана, – присовокупил он, кланяясь Флегонту Михайлычу, – и ваше! – отнесся он к Палагее Евграфовне.

– Ура! – заключил Петр Михайлыч.

Все выпили.

– Капитан! – обратился Петр Михайлыч к брату. – Протяните вашу воинственную руку нашему литератору: Аполлон и Марс должны жить в дружелюбии. Яков Васильич, чокнитесь с ним.

– Очень рад, – отвечал Калинович и, проворно налив себе и капитану шампанского, чокнулся с ним и потом, взяв его за руку, крепко сжал ее. Капитан, впрочем, не ответил ему тем же.

– Да прекратятся между вами все недоразумения, да будет между вами на будущее время мир и согласие! – произнес Петр Михайлыч.

– Надеюсь, что со временем, когда Флегонт Михайлыч узнает меня лучше, переменит свое мнение обо мне, – сказал Калинович.

– Я сам тоже надеюсь: вы человек образованный... – проговорил капитан, взглянув вскользь на Настеньку.

Калинович вместо ответа еще раз сжал руку капитану.

Таким образом кончился этот маленький банкет, на котором так много и так искренно сочувствовали и радовались успеху Калиновича.

«Родятся же на свете такие добрые и хорошие люди!» – думал он, возвращаясь в раздумье на свою квартиру.

Часть вторая

I

Покуда происходили такого рода знаменательные происшествия в моем маленьком мирку, в доме генеральши следовали одна за другой неприятности. Первоначально с ней делался, бог уж знает отчего, удар, который хотя и миновался без особенно важных последствий, но имел некоторое влияние на ее умственные способности. Исправница, успевшая окончательно втереться к ним в дом, рассказывала, что m-lle Полина была в совершенном отчаянии. Любя мать, она в душе страдала больше, нежели сама больная, тем более, что, как она ни уговаривала, как ни умоляла ее ехать в Москву или хотя бы в губернский город пользоваться – та и слышать не хотела. «После болезни скупость ее, – прибавляла исправница по секрету, – еще больше увеличилась». А между тем на второй неделе поста старушку постигла еще новая неприятность. Медиокритский, остававшийся ее поверенным, потеряв место, недели две безвыходно пил в известном трактире. Генеральша, не зная этого, доверила ему, как и прежде часто случалось, получить с почты тысячу рублей серебром. Тот получил – и с тех пор более не являлся, скрылся даже из города неизвестно куда. Можете судить, какое впечатление произвела эта дерзость и потеря такой значительной суммы на больную! С ней опять сделалось что-то вроде параличного припадка, так что никаких сил более не доставало у m-lle Полины. Она написала коротенькую, но раздушенную записочку к князю Ивану и отправила потихоньку с нарочным. Тот на другой же день приехал. Генеральша, никак не ожидавшая князя, очень ему обрадовалась. В какие-нибудь четверть часа он так ее разговорил, успокоил, что она захотела перебраться из спальни в гостиную, а князь между тем отправился повидаться кой с кем из своих знакомых.

В дальнейшем ходе романа лицо это примет довольно серьезное участие, а потому я считаю необходимым сообщить о нем несколько подробностей. Некогда адъютант гвардейского генерала, щеголявшего своими адъютантами, а теперь прекрасно живущий помещик, он считался одним из первых тузов. Несмотря на свои пятьдесят лет, князь мог еще быть назван, по всей справедливости, мужчиною замечательной красоты: благообразный с лица и несколько уж плешивый, что, впрочем, к нему очень шло, среднего роста, умеренно полный, с маленькими, красивыми руками, одетый всегда молодо, щеголевато и со вкусом, он имел те приятные манеры, которые напоминали несколько манеры ветреных, но милых маркизов. К этой наружности князь присоединял самое обаятельное, самое светское обращение: знакомый почти со всей губернией, он обыкновенно с помещиками богатыми и чиновниками значительными был до утонченности вежлив и даже несколько почтителен; к дворянам же небогатым и чиновникам неважным относился необыкновенно ласково и обязательно и вообще, кажется, во всю свою жизнь, кроме приятного и лестного, никому ничего не говорил. Никогда никто не слыхал, чтоб он о ком-нибудь отзывался в резких выражениях, дурно или насмешливо, хоть в то же время любил и умел, особенно на французском языке, сказать остроту, но только ни к кому не относящуюся. Кто бы к нему ни обращался с какой просьбой: просила ли, обливаясь горькими слезами, вдова помещица похлопотать, когда он ехал в Петербург, о помещении детей в какое-нибудь заведение, прибегал ли к покровительству его попавшийся во взятках полупьяный чиновник – отказа никому и никогда не было; имели ли окончательный успех или нет эти просьбы – то другое дело. Большей частью они, по стечению обстоятельств, не исполнялись. Кроме того, знакомясь с новым лицом, князь имел удивительную способность с первого же раза угадывать конек каждого и направлял обыкновенно разговор на самые интересные для того предметы. Вследствие этого все новые знакомые, особенно лица, почему-либо нужные

князю, всегда приходили в восторг от знакомства с ним. Семь губернаторов, сменявшиеся в последнее время один после другого, считали его самым благородным и преданным себе человеком и искали только случая сделать ему что-нибудь приятное. Прочие власти тоже, начиная с председателей палат до последнего писца в ратуше, готовы были служить для него по службе всем, что только от них зависело. В деревне своей князь жил в полном смысле барин, имел четырех детей, из которых два сына служили в кавалергардах, а у старшей дочери, с самой ее колыбели, были и немки, и француженки, и англичанки, стоившие, вероятно, тысяч. Сам он почти каждый год два – три месяца жил в Петербурге, а года два назад ездил даже, по случаю болезни жены, со всем семейством за границу, на воды и провел там все лето. При таких широких размахах жизни князь, казалось, давно бы должен был промотаться в пух, тем более, что после отца, известного мота, он получил, как все очень хорошо знали, каких-нибудь триста душ, да и те в залоге. Женат был на даме очень милой, образованной, некогда красавице и певице, но за которой тоже ничего не взял. Несмотря, однако, на все это, он не только не проматывался, но еще приобретал, и вместо трехсот душ у него уже была с лишком тысяча. К объяснению всего этого ходило, конечно, по губернии несколько темных и неопределенных слухов, вроде того, например, как чересчур уж хозяйственные в свою пользу распоряжения по одному огромному имению, находившемуся у князя под опекой; участие в постройке дома на дворянские суммы, который потом развалился; участие будто бы в Петербурге в одной торговой компании, в которой князь был распорядителем и в которой потом все участники потеряли безвозвратно свои капиталы; отношения князя к одному очень важному и значительному лицу, его прежнему благодетелю, который любил его, как родного сына, а потом вдруг удалил от себя и даже запретил называть при себе его имя, и, наконец, очень тесная дружба с домом генеральши, и ту как-то различно понимали: кто обращал особенное внимание на то, что для самой старухи каждое слово князя было законом, и что она, дрожавшая над каждой копейкой, ничего для него не жалела и, как известно по маклерским книгам, лет пять назад дала ему под вексель двадцать тысяч серебром, а другие говорили, что m-lle Полина дружнее с князем, чем мать, и что, когда он приезжал, они, отправив старуху спать, по нескольку часов сидят вдвоем, затворившись в кабинете – и так далее... Всему этому, конечно, большая часть знакомых князя не верила; а если кто отчасти и верил или даже сам доподлинно знал, так не считал себя вправе разглашать, потому что каждый почти был если не обязан, то по крайней мере обласкан им.

В настоящий свой проезд князь, посидев со старухой, отправился, как это всякий раз почти делал, посетить кой-кого из своих городских знакомых и сначала завернул в присутственные места, где в уездном суде, не застав членов, сказал небольшую любезность секретарю, ласково поклонился попавшемуся у дверей земского суда рассыльному, а встретив на улице исправника, выразил самую неподдельную, самую искреннюю радость и по крайней мере около пяти минут держал его за обе руки, сжимая их с чувством. Проезжая потом по главной улице, князь встретил Петра Михайлыча, и тому еще издали снял шляпу, кланялся и улыбался. Петр Михайлыч, с своей стороны, подошел к нему, расшаркался и отдал почтительный поклон. Он уважал князя и выражался о нем таким образом: «Талейран³⁰, сударь, нашего времени, Талейран».

- Здоровы ли вы? – сказал князь, дружески сжимая руку Петра Михайлыча.
- Благодарю вас покорно, слава богу, живу еще, – отвечал тот.
- Очень, очень рад вас видеть, – продолжал князь.

Петр Михайлыч поклонился.

- Давно не изволили жаловать к нам в город, ваше сиятельство, – сказал он.

³⁰ Талейран-Перигор Шарль Морис (1754—1838) – выдающийся французский дипломат, известный своей беспринципностью и корыстолюбием.

– Что делать! Что делать! – отвечал князь. – Но полагаю, что здесь идет все по-старому, значит, хорошо и благополучно, – прибавил он.

– Конечно-с, – подтвердил Петр Михайлыч, – какие здесь могут быть перемены. Впрочем, – продолжал он, устремляя на князя пристальный взгляд, – есть одна и довольно важная новость. Здешнего нового господина смотрителя училищного изволите знать?

– Да, как же, как же, знаю, видал его: очень, кажется, порядочный молодой человек.

– Очень хороший-с, – подтвердил Петр Михайлыч, – и теперь написал роман, которым прославился на всю Россию, – прибавил он несколько уже нетвердым голосом.

– Скажите, пожалуйста! – воскликнул князь. – Роман написал.

– Вы, может быть, даже читали его: «Странные отношения» называется? – проговорил Петр Михайлыч с почтением.

– Да, читал, читал и по крайней мере с полчаса ломал голову: вижу фамилия знакомая, а вспомнить не могу. Очень, очень мило написано!

Говоря это, князь от первого до последнего слова лгал, потому что он не только романа Калиновича, но никакой, я думаю, книги, кроме газет, лет двадцать уж не читывал.

– Теперь критики только и дело, что расхваливают его нарасхват, – продолжал между тем Годнев гораздо уже более ободренным тоном. – И мне тем приятнее, – прибавил он, склоняя по обыкновению голову набок, – что вы, человек образованный и знакомый со многими иностранными литературами, так отзываетесь, а здешние некоторые господа не хотят и внимания обратить на это сочинение и еще смеются!

Князь покачал головою.

– Как это можно! – проговорил он.

– Что делать. Не славен пророк в отечестве своем! – отвечал со вздохом Петр Михайлыч.

– Отчего же?... Нет! По крайней мере я сейчас же заверну к господину Калиновичу поблагодарить его за доставленное мне наслаждение. До свидания.

Проговоря это, князь, с прежним радушием пожав руку старику, поехал.

Надобно сказать, что Петр Михайлыч со времени получения из Петербурга радостного известия о напечатании повести Калиновича постоянно занимался распространением славы своего молодого друга, и в этом случае чувства его были до того преисполнены, что он в первое же воскресенье завел на эту тему речь со стариком купцом, церковным старостой, выходя с ним после заутрени из церкви.

– Вот вы, некоторые из купечества, избегаете образовывать детей ваших. Это очень нехорошо! – начал было он.

Староста, старик, старинный, закоренелый, скупой, но умный и прехитрый, полагая, что не на его ли счет будет что-нибудь говорить, повернул голову несколько набок и стал прислушиваться единственно слышавшим правым ухом, на которое, впрочем, смотря по обстоятельствам, притворялся тоже иногда глухим.

– Теперь вот мой преемник, смотритель, – продолжал Петр Михайлыч, – сирота круглый, бедняк, а по образованию своему делается сочинителем: стало быть, человеком знатным и богатым.

Купец только пожал плечами.

– Всякому, сударь, доложить вам, человеку свое счастье! – сказал он, вздохнув, и потом, приподняв фуражку и проговоря: – Прощенья просим, ваше высокоблагородие! – повернул в свой переулок и скрылся за тяжеловесную дубовую калитку, которую, кроме зашелки, запер еще припором и спустил с цепи собаку.

Отнеся такое невнимание не более как к невежеству русского купечества, Петр Михайлыч в тот же день, придя на почту отправить письмо, не преминул заговорить о любимом своем предмете с почтмейстером, которого он считал, по образованию, первым после себя человеком.

– Вы знаете моего преемника? – спросил он.

– Был, сударь, у меня, – отвечал тот и почему-то вздохнул.

– Сочинение теперь написал, которым прославился на всю Россию.

– Какое-с это? О господи помилуй! – проговорил почтмейстер, кидая по обыкновению короткий взгляд на образа.

– Романическое!

Почтмейстер поглядел несколько времени через очки на Петра Михайлыча как бы с видом некоторого сожаления.

– Нам с вами, в наши лета, пора бы и другие книжки уж почитать, – проговорил он.

– Что ж, я почитаю и те и другие, – отвечал Петр Михайлыч, заметно сконфуженный этим замечанием, и потом, посевив еще несколько времени ногами, раскланялся.

– Умный бы старик, но очень уж односторонен, – говорил он, идя домой, и все еще, видно, мало наученный этими опытами, на той же неделе придя в казначейство получать пенсию, не утерпел и заговорил с казначеем о Калиновиче.

– Сам ходит новый смотритель к вам в кладовую ставить шкатулку-то? – спросил он его так, будто к слову.

– Сам, – отвечал казначей и икнул.

– Роман он сочинил, и за какие-нибудь сто печатных страничек ему шестьсот рублей серебром отсыплют.

Петр Михайлыч желал поразить казначея, как и Палагею Евграфовну, деньгами; но тот и на это ничего не сказал, а только опять икнул. Годнев, наконец, понял, что этот разговор несколько не интересовал казнохранителя, а потому поднялся.

– До свиданья, – сказал он.

– До свиданья, – проговорил казначей и еще раз икнул.

«Эк его!» – подумал про себя Петр Михайлыч и заметил вслух:

– Верно, желудок испортили: все икаете?

– Нет, так, поминает кто-нибудь, – отвечал казначей.

Выйдя на крыльцо, Петр Михайлыч некоторое время стоял в раздумье. – Ну, попробую еще, – проговорил он и взобрался в земский суд, где застал довольно большую компанию: исправника, неперменного члена и, кроме того, судью и заседателя: они пришли из своего суда посидеть в земский. Секретарь, молодой еще человек, только что начинавший свою уездную карьеру, ласкал всех добрым взглядом. Два рыжие писца, родные братья Медиокритского, тоже молодые люди, владевшие замечательно красивым почерком, стояли у стеклянных дверей присутствия и обнаруживали большое внимание к тому, что там происходило.

Всех занимал некто, приехавший в город, помещик Прохоров, мужчина лет шестидесяти и громаднейшего роста. По случаю спора о военной службе он делал теперь кочергой, как бы ружьем, разные артикулы и маршировал. Судья ему командовал: «Раз, два! Раз, два!» – говорил он, колотя себя по ляжке. Прохоров, с крупными каплями пота на лице, маршировал самым добросовестным образом. «Стой!» – скомандовал судья. Прохоров остановился. «Дирекция налево!» – крикнул судья. Прохоров повернул несколько налево свои бычачьи глаза. «Заряжение на двенадцать темпов!» – скомандовал судья. Прохоров сначала представил, что как будто бы он вынул патрон, потом скусил его, опустил в дуло, прибил шомполом, наконец, взвел курок, прицелился. «Пли!» – крикнул судья. Прохоров выпалил ртом. «Чисто делает», – заметил неперменный член заседателю. – «Еще бы!» – подтвердил тот.

В подобном обществе странно бы, казалось, и совершенно бесполезно начинать разговор о литературе, но Петр Михайлыч не утерпел и, прежде еще высмотрев на окне именно тот номер газеты, в котором был расхвален Калинович, взял его, проговоря скороговоркой:

– Про здешнего одного господина тут пишут, – и прочел весь отзыв вслух.

При этой выходке его все потупились и молчали, как будто старик сказал какую-нибудь глупость или сделал неприличный поступок.

– Что уж, господа, ученое звание, про вас и говорить! Вам и книги в руки, – сказал Прохоров, делая кочергой на караул.

Петру Михайлычу это показалось обидно.

– Что ж, книги в руки? В книгах, сударь, ничего нет худого; тут не над чем, кажется, смеяться, – заметил он.

– Что ж, плакать, что ли, нам над вашими книгами, – сострил Прохоров.

Все засмеялись.

Петр Михайлыч промолчал и поспешил уйти.

С месяц потом он ни с кем не заговаривал о Калиновиче и даже в сцене с князем, как мы видели, приступил к этому довольно осторожно. Но любезность того сразу, так сказать, искупила для старика все его неудачи по этому предмету и умилила его до глубины души. Услышав звон к поздней обедне, он пошел в собор поблагодарить бога, что уж и в провинции начинает распространяться образование, особенно в дворянском быту, где прежде были только кутилы, собачники, картежники, никогда не читавшие никаких книг. Князь между тем заехал к Калиновичу на минуту и, выехав от него, завернул к старой барышне-помещице, у которой, по ее просьбе и к успокоению ее, сделал строгое внушение двум ее краснощеким горничным, чтоб они служили госпоже хорошо и не делали, что прежде делали.

В доме генеральши между тем, по случаю приезда гостя, происходила суетня: ключница отвешивала сахар, лакеи заливали в лампы масло и приготавливали стеариновые свечи; художавый метрдотель успел уже сбегать в ряды и захватить всю крупную рыбу, купил самого высшего сорта говядины и взял в погребке очень дорогого рейнвейна. Князь был большой гастроном и пил за столом только один рейнвейн высокой цены. Часу в первом генеральша перешла из спальни в гостиную и, обложившись подушками, села на свой любимый угловой диван. На подзеркальном столике лежала кипа книг и огромный тюрк с конфетами; первые князь привез из своей библиотеки для m-lle Полины, а конфеты предназначил для генеральши. Она была вообще до сладкого большая охотница, и, так как у князя был превосходный кондитер, так он очень часто присылал и привозил старухе фунта по четыре, по пяти самых отборных печений, доставляя ей тем большое удовольствие. M-lle Полина, решительно ожившая и вздохнувшая свободно от приезда князя, разливала кофе из серебряного кофейника в дорогие фарфоровые чашки, расставленные тоже на серебряном подносе. Князь очень удобно поместился на мягком кресле. Генеральша лениво, но ласково смотрела на него и потом начала взглядывать на разлитый по чашкам кофе.

– Полина, как хочешь, дай мне кофею, – проговорила она.

У старухи после болезни сделался ужасный аппетит.

– Мамаша... – произнесла Полина полуукоризненным, полуумоляющим голосом.

Генеральша, пожав плечами, отвернулась от дочери. M-lle Полина покачала головой и вздохнула.

– Небольшую чашечку кофею ничего, право, ничего, – решил князь.

– И я тоже утверждаю; но что же мне делать, если все мне нельзя и все вредно, по мнению Полины, – произнесла старуха оскорбленным тоном. M-lle Полина грустно улыбнулась и налила чашку.

– Извольте, маман³¹, кушайте; я для вас же... – проговорила она, подавая матери чашку.

Генеральша медленно, но с большим удовольствием начала глотать кофе и при этом съела два куса белого хлеба.

– Кофе хорош, – заключила она.

³¹ мамаша (франц.).

– Стакан воды, ma tante³², стакан воды непременно извольте выкушать! Этим правилом никогда не манкируйте, – сказал князь, погрозя пальцем.

– Я согласна, – отвечала генеральша таким тоном, как будто делала в этом случае весьма большое одолжение.

М-lle Полина позвонила; вошел лакей.

– Холодной? – спросила она, обращаясь к князю.

– Самой холодной, – отвечал тот.

– Воды холодной маменьке, – сказала она человеку.

Тот ушел и возвратился с водой. М-lle Полина наперед сама ее попробовала, приложив руку к стакану.

– Кажется, холодна? – обратилась она к князю.

Тот тоже приложил руку к стакану.

– Хороша, – сказал он и подал стакан генеральше.

Та медленно отпила половину.

– Будет, – проговорила она.

– Нет, ma tante, как угодно, весь, непременно весь, – возразил князь.

– Допейте, тамап; иначе кофе вам повредит! – подтвердила Полина.

Генеральша нехотя допила.

– Ох, вы меня совсем залечите! – сказала она и в то же время медленно обратила глаза к лежавшим на столе конфетам.

– За то, что я тебя, дружок, послушалась, дай мне одну конфету из твоего подарка, – произнесла она кротко.

– Можно ли до обеда, тамап, – заметила Полина.

– Ничего, ничего, это самые невинные, – разрешил князь и поднес генеральше вместо одной три конфеты.

Та начала их с большим удовольствием зубрить, а потом постепенно склонила голову и задремала.

– Ребенок, совершенный ребенок! – произнес князь шепотом.

М-lle Полина вздохнула.

– Совершенный ребенок! – повторил он и, пересев на довольно отдаленный стул, закурил сигару.

Полина села около него. Князь некоторое время смотрел на нее с заметным участием.

– Однако как вы, кузина, похудели! Боже мой, боже мой! – начал он тихо.

Полина грустно улыбнулась.

– Ты спроси, князь, – отвечала она полушепотом, – как я еще жива. Столько перенести, столько страдать, сколько я страдала это время, – я и не знаю!.. Пять лет прожить в этом городишке, где я человеческого лица не вижу; и теперь еще эта болезнь... ни дня, ни ночи нет покоя... вечные капризы... вечные жалобы... и, наконец, эта отвратительная скупость – ей-богу, невыносимо, так что приходят иногда такие минуты, что я готова бог знает на что решиться.

Князь пожал плечами.

– Терпение и терпение. Всякое зло должно же когда-нибудь кончиться, а этому, кажется, недалек конец, – сказал он, указывая глазами на генеральшу.

– Терпение! Тебе хорошо говорить! Конечно, когда ты приезжаешь, я счастлива, но даже и наши отношения, как ты хочешь, они ужасны. Мне решительно надобно выйти замуж.

³² тетушка (франц.).

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.